ОБЛОМОВ

Иван Гончаров

Новая классика

Новая классика

Иван Гончаров

Обломов

«Феникс»
1858

Гончаров И. А.

Обломов / И. А. Гончаров — «Феникс», 1858 — (Новая классика)

ISBN 978-5-222-48546-0

Представьте себе молодого человека, который словно застрял между мечтой о беззаботном существовании и давлением мира, требующего действий и перемен. Обломов – герой, чья жизнь наполнена уютной инертностью, когда каждое утро начинается с мечтаний, а каждый вечер заканчивается размышлениями о том, что все могло бы быть иначе. Эта книга для тех, кто ищет ответы на вопросы, как найти свое место в мире, когда общество диктует свои правила, и где именно прячется смелость сделать первый шаг к переменам. История Обломова заставляет задуматься о личной ответственности, о цене комфорта и о том, насколько важно не упустить шанс изменить свою судьбу. Это история о том, как легко потерять себя в мире, где мечты растворяются в рутине, и о том, как важно найти в себе силы вырваться из движения по инерции, чтобы открыть для себя настоящий путь к счастью.

ISBN 978-5-222-48546-0

© Гончаров И. А., 1858
© Феникс, 1858

Содержание

Часть первая 6
I 6
II 13
III 26
IV 29
V 37
VI 41
VII 46
VIII 51
IX. Сон Обломова 66
Конец ознакомительного фрагмента. 80

Иван Гончаров
Обломов

© Гогунская П. (Enma Shikiten), иллюстрации, 2026
© ООО «Феникс», оформление, 2026
© В книге использованы иллюстрации по лицензии Shutterstock.com

* * *

Нормальное назначение человека – прожить четыре времени года, то есть четыре возраста, без скачков и донести сосуд жизни до последнего дня, не пролив ни одной капли напрасно…

Часть первая

I

В Гороховой улице, в одном из больших домов, народонаселения которого стало бы на целый уездный город, лежал утром в постели, на своей квартире, Илья Ильич Обломов.

Это был человек лет тридцати двух-трех от роду, среднего роста, приятной наружности, с темно-серыми глазами, но с отсутствием всякой определенной идеи, всякой сосредоточенности в чертах лица. Мысль гуляла вольной птицей по лицу, порхала в глазах, садилась на полуотворенные губы, пряталась в складках лба, потом совсем пропадала, и тогда во всем лице теплился ровный свет беспечности. С лица беспечность переходила в позы всего тела, даже в складки шлафрока.

Иногда взгляд его помрачался выражением будто усталости или скуки; но ни усталость, ни скука не могли ни на минуту согнать с лица мягкость, которая была господствующим и основным выражением, не лица только, а всей души; а душа так открыто и ясно светилась в глазах, в улыбке, в каждом движении головы, руки. И поверхностно наблюдательный, холодный человек, взглянув мимоходом на Обломова, сказал бы: «Добряк должен быть, простота!» Человек поглубже и посимпатичнее, долго вглядываясь в лицо его, отошел бы в приятном раздумье, с улыбкой.

Цвет лица у Ильи Ильича не был ни румяный, ни смуглый, ни положительно бледный, а безразличный или казался таким, может быть, потому, что Обломов как-то обрюзг не по летам: от недостатка ли движения или воздуха, а может быть, того и другого. Вообще же тело его, судя по матовому, чересчур белому цвету шеи, маленьких пухлых рук, мягких плеч, казалось слишком изнеженным для мужчины.

Движения его, когда он был даже встревожен, сдерживались также мягкостью и не лишенною своего рода грации ленью. Если на лицо набегала из души туча заботы, взгляд туманился, на лбу являлись складки, начиналась игра сомнений, печали, испуга; но редко тревога эта застывала в форме определенной идеи, еще реже превращалась в намерение. Вся тревога разрешалась вздохом и замирала в апатии или в дремоте.

Как шел домашний костюм Обломова к покойным чертам лица его и к изнеженному телу! На нем был халат из персидской материи, настоящий восточный халат, без малейшего намека на Европу, без кистей, без бархата, без талии, весьма поместительный, так что и Обломов мог дважды завернуться в него. Рукава, по неизменной азиатской моде, шли от пальцев к плечу все шире и шире. Хотя халат этот и утратил свою первоначальную свежесть и местами заменил свой первобытный, естественный лоск другим, благоприобретенным, но все еще сохранял яркость восточной краски и прочность ткани.

Халат имел в глазах Обломова тьму неоцененных достоинств: он мягок, гибок; тело не чувствует его на себе; он, как послушный раб, покоряется самомалейшему движению тела.

Обломов всегда ходил дома без галстука и без жилета, потому что любил простор и приволье. Туфли на нем были длинные, мягкие и широкие; когда он, не глядя, опускал ноги с постели на пол, то непременно попадал в них сразу.

Лежанье у Ильи Ильича не было ни необходимостью, как у больного или как у человека, который хочет спать, ни случайностью, как у того, кто устал, ни наслаждением, как у лентяя: это было его нормальным состоянием. Когда он был дома – а он был почти всегда дома, – он все лежал, и все постоянно в одной комнате, где мы его нашли, служившей ему спальней, кабинетом и приемной. У него было еще три комнаты, но он редко туда заглядывал, утром

разве, и то не всякий день, когда человек мел кабинет его, чего всякий день не делалось. В тех комнатах мебель закрыта была чехлами, шторы спущены.

Комната, где лежал Илья Ильич, с первого взгляда казалась прекрасно убранною. Там стояло бюро красного дерева, два дивана, обитые шелковою материею, красивые ширмы с вышитыми небывалыми в природе птицами и плодами. Были там шелковые занавесы, ковры, несколько картин, бронза, фарфор и множество красивых мелочей.

Но опытный глаз человека с чистым вкусом одним беглым взглядом на все, что тут было, прочел бы только желание кое-как соблюсти *decorum*[1] неизбежных приличий, лишь бы отделаться от них. Обломов хлопотал, конечно, только об этом, когда убирал свой кабинет. Утонченный вкус не удовольствовался бы этими тяжелыми, неграциозными стульями красного дерева, шаткими этажерками. Задок у одного дивана оселся вниз, наклеенное дерево местами отстало.

Точно тот же характер носили на себе и картины, и вазы, и мелочи.

Сам хозяин, однако, смотрел на убранство своего кабинета так холодно и рассеянно, как будто спрашивал глазами: «Кто сюда натащил и наставил все это?» От такого холодного воззрения Обломова на свою собственность, а может быть, и еще от более холодного воззрения на тот же предмет слуги его, Захара, вид кабинета, если осмотреть там все повнимательнее, поражал господствующею в нем запущенностью и небрежностью.

По стенам, около картин, лепилась в виде фестонов паутина, напитанная пылью; зеркала, вместо того чтоб отражать предметы, могли бы служить скорее скрижалями для записывания на них по пыли каких-нибудь заметок на память. Ковры были в пятнах. На диване лежало забытое полотенце; на столе редкое утро не стояла не убранная от вчерашнего ужина тарелка с солонкой и с обглоданной косточкой да не валялись хлебные крошки.

Если б не эта тарелка, да не прислоненная к постели только что выкуренная трубка, или не сам хозяин, лежащий на ней, то можно было бы подумать, что тут никто не живет, – так все запылилось, полиняло и вообще лишено было живых следов человеческого присутствия. На этажерках, правда, лежали две-три развернутые книги, валялась газета, на бюро стояла и чернильница с перьями; но страницы, на которых развернуты были книги, покрылись пылью и пожелтели; видно, что их бросили давно; нумер газеты был прошлогодний, а из чернильницы, если обмакнуть в нее перо, вырвалась бы разве только с жужжаньем испуганная муха.

Илья Ильич проснулся, против обыкновения, очень рано, часов в восемь. Он чем-то сильно озабочен. На лице у него попеременно выступал не то страх, не то тоска и досада. Видно было, что его одолевала внутренняя борьба, а ум еще не являлся на помощь.

Дело в том, что Обломов накануне получил из деревни, от своего старосты, письмо неприятного содержания. Известно, о каких неприятностях может писать староста: неурожай, недоимки, уменьшение дохода и т. п. Хотя староста и в прошлом и в третьем году писал к своему барину точно такие же письма, но и это последнее письмо подействовало так же сильно, как всякий неприятный сюрприз.

Легко ли? Предстояло думать о средствах к принятию каких-нибудь мер. Впрочем, надо отдать справедливость заботливости Ильи Ильича о своих делах. Он по первому неприятному письму старосты, полученному несколько лет назад, уже стал создавать в уме план разных перемен и улучшений в порядке управления своим имением.

По этому плану предполагалось ввести разные новые экономические, полицейские и другие меры. Но план был еще далеко не весь обдуман, а неприятные письма старосты ежегодно повторялись, побуждали его к деятельности и, следовательно, нарушали покой. Обломов сознавал необходимость до окончания плана предпринять что-нибудь решительное.

---

[1] Видимость (*лат.*).

Он, как только проснулся, тотчас же вознамерился встать, умыться и, напившись чаю, подумать хорошенько, кое-что сообразить, записать и вообще заняться этим делом как следует.

С полчаса он все лежал, мучась этим намерением, но потом рассудил, что успеет еще сделать это и после чаю, а чай можно пить, по обыкновению, в постели, тем более что ничто не мешает думать и лежа.

Так и сделал. После чаю он уже приподнялся с своего ложа и чуть было не встал; поглядывая на туфли, он даже начал спускать к ним одну ногу с постели, но тотчас же опять подобрал ее.

Пробило половина десятого, Илья Ильич встрепенулся.

– Что ж это я в самом деле? – сказал он вслух с досадой. – Надо совесть знать: пора за дело! Дай только волю себе, так и… Захар! – закричал он.

В комнате, которая отделялась только небольшим коридором от кабинета Ильи Ильича, послышалось сначала точно ворчанье цепной собаки, потом стук спрыгнувших откуда-то ног. Это Захар спрыгнул с лежанки, на которой обыкновенно проводил время, сидя погруженный в дремоту.

В комнату вошел пожилой человек, в сером сюртуке, с прорехою под мышкой, откуда торчал клочок рубашки, в сером же жилете, с медными пуговицами, с голым, как колено, черепом и с необъятно широкими и густыми русыми с проседью бакенбардами, из которых каждой стало бы на три бороды.

Захар не старался изменить не только данного ему богом образа, но и своего костюма, в котором ходил в деревне. Платье ему шилось по вывезенному им из деревни образцу. Серый сюртук и жилет нравились ему и потому, что в этой полуформенной одежде он видел слабое воспоминание ливреи, которую он носил некогда, провожая покойных господ в церковь или в гости; а ливрея в воспоминаниях его была единственною представительницею достоинства дома Обломовых.

Более ничто не напоминало старику барского широкого и покойного быта в глуши деревни. Старые господа умерли, фамильные портреты остались дома и, чай, валяются где-нибудь на чердаке; предания о старинном быте и важности фамилии всё глохнут или живут только в памяти немногих, оставшихся в деревне же стариков. Поэтому для Захара дорог был серый сюртук: в нем да еще в кое-каких признаках, сохранившихся в лице и манерах барина, напоминавших его родителей, и в его капризах, на которые хотя он и ворчал, и про себя и вслух, но которые между тем уважал внутренно, как проявление барской воли, господского права, видел он слабые намеки на отжившее величие.

Без этих капризов он как-то не чувствовал над собой барина; без них ничто не воскрешало молодости его, деревни, которую они покинули давно, и преданий об этом старинном доме, единственной хроники, веденной старыми слугами, няньками, мамками и передаваемой из рода в род.

Дом Обломовых был когда-то богат и знаменит в своей стороне, но потом, бог знает отчего, все беднел, мельчал и наконец незаметно потерялся между нестарыми дворянскими домами. Только поседевшие слуги дома хранили и передавали друг другу верную память о минувшем, дорожа ею, как святынею.

Вот отчего Захар так любил свой серый сюртук. Может быть, и бакенбардами своими он дорожил потому, что видел в детстве своем много старых слуг с этим старинным, аристократическим украшением.

Илья Ильич, погруженный в задумчивость, долго не замечал Захара. Захар стоял перед ним молча. Наконец он кашлянул.

– Что ты? – спросил Илья Ильич.

– Ведь вы звали?

– Звал? Зачем же это я звал – не помню! – отвечал он, потягиваясь. – Поди пока к себе, а я вспомню.

Захар ушел, а Илья Ильич продолжал лежать и думать о проклятом письме.

Прошло с четверть часа.

– Ну, полно лежать! – сказал он. – Надо же встать… А впрочем, дай-ка я прочту еще раз со вниманием письмо старосты, а потом уж и встану. Захар!

Опять тот же прыжок и ворчанье сильнее. Захар вошел, а Обломов опять погрузился в задумчивость. Захар стоял минуты две, неблагосклонно, немного стороной посматривая на барина, и наконец пошел к дверям.

– Куда же ты? – вдруг спросил Обломов.

– Вы ничего не говорите, так что ж тут стоять-то даром? – захрипел Захар, за неимением другого голоса, который, по словам его, он потерял на охоте с собаками, когда ездил с старым барином и когда ему дунуло будто сильным ветром в горло.

Он стоял вполуоборот среди комнаты и глядел все стороной на Обломова.

– А у тебя разве ноги отсохли, что ты не можешь постоять? Ты видишь, я озабочен – так и подожди! Не належался еще там? Сыщи письмо, что я вчера от старосты получил. Куда ты его дел?

– Какое письмо? Я никакого письма не видал, – сказал Захар.

– Ты же от почтальона принял его: грязное такое!

– Куда ж его положили – почему мне знать? – говорил Захар, похлопывая рукой по бумагам и по разным вещам, лежавшим на столе.

– Ты никогда ничего не знаешь. Там, в корзине, посмотри! Или не завалилось ли за диван? Вот спинка-то у дивана до сих пор непочинена; что б тебе призвать столяра да починить? Ведь ты же изломал. Ни о чем не подумаешь!

– Я не ломал, – отвечал Захар, – она сама изломалась; не век же ей быть: надо когда-нибудь изломаться.

Илья Ильич не счел за нужное доказывать противное.

– Нашел, что ли? – спросил он только.

– Вот какие-то письма.

– Не те.

– Ну, так нет больше, – говорил Захар.

– Ну хорошо, поди! – с нетерпением сказал Илья Ильич. – Я встану, сам найду.

Захар пошел к себе, но только он уперся было руками о лежанку, чтоб прыгнуть на нее, как опять послышался торопливый крик: «Захар, Захар!»

– Ах ты, господи! – ворчал Захар, отправляясь опять в кабинет. – Что это за мученье! Хоть бы смерть скорее пришла!

– Чего вам? – сказал он, придерживаясь одной рукой за дверь кабинета и глядя на Обломова, в знак неблаговоления, до того стороной, что ему приходилось видеть барина вполглаза, а барину видна была только одна необъятная бакенбарда, из которой так и ждешь, что вылетят две-три птицы.

– Носовой платок, скорей! Сам бы ты мог догадаться: не видишь! – строго заметил Илья Ильич.

Захар не обнаружил никакого особенного неудовольствия или удивления при этом приказании и упреке барина, находя, вероятно, с своей стороны и то и другое весьма естественным.

– А кто его знает, где платок? – ворчал он, обходя вокруг комнату и ощупывая каждый стул, хотя и так можно было видеть, что на стульях ничего не лежит.

– Все теряете! – заметил он, отворяя дверь в гостиную, чтоб посмотреть, нет ли там.

– Куда? Здесь ищи! Я с третьего дня там не был. Да скорее же! – говорил Илья Ильич.

– Где платок? Нету платка! – говорил Захар, разводя руками и озираясь во все углы. – Да вон он, – вдруг сердито захрипел он, – под вами! Вон конец торчит. Сами лежите на нем, а спрашиваете платка!

И, не дожидаясь ответа, Захар пошел было вон. Обломову стало немного неловко от собственного промаха. Он быстро нашел другой повод сделать Захара виноватым.

– Какая у тебя чистота везде: пыли-то, грязи-то, боже мой! Вон, вон, погляди-ка в углах-то – ничего не делаешь!

– Уж коли я ничего не делаю… – заговорил Захар обиженным голосом, – стараюсь, жизни не жалею! И пыль-то стираю, и мету-то почти каждый день…

Он указал на середину пола и на стол, на котором Обломов обедал.

– Вон, вон, – говорил он, – все подметено, прибрано, словно к свадьбе… Чего еще?

– А это что? – прервал Илья Ильич, указывая на стены и на потолок. – А это? А это? – Он указал и на брошенное со вчерашнего дня полотенце, и на забытую на столе тарелку с ломтем хлеба.

– Ну, это, пожалуй, уберу, – сказал Захар снисходительно, взяв тарелку.

– Только это! А пыль по стенам, а паутина?.. – говорил Обломов, указывая на стены.

– Это я к Святой неделе убираю; тогда образа чищу и паутину снимаю…

– А книги, картины обмести?..

– Книги и картины перед Рождеством: тогда с Анисьей все шкафы переберем. А теперь когда станешь убирать? Вы всё дома сидите.

– Я иногда в театр хожу да в гости; вот бы…

– Что за уборка ночью!

Обломов с упреком поглядел на него, покачал головой и вздохнул, а Захар равнодушно поглядел в окно и тоже вздохнул. Барин, кажется, думал: «Ну, брат, ты еще больше Обломов, нежели я сам», а Захар чуть ли не подумал: «Врешь! ты только мастер говорить мудреные да жалкие слова, а до пыли и до паутины тебе и дела нет».

– Понимаешь ли ты, – сказал Илья Ильич, – что от пыли заводится моль? Я иногда даже вижу клопа на стене!

– У меня и блохи есть! – равнодушно отозвался Захар.

– Разве это хорошо? Ведь это гадость! – заметил Обломов.

Захар усмехнулся во все лицо, так что усмешка охватила даже брови и бакенбарды, которые от этого раздвинулись в стороны, и по всему лицу до самого лба расплылось красное пятно.

– Чем же я виноват, что клопы на свете есть? – сказал он с наивным удивлением. – Разве я их выдумал?

– Это от нечистоты, – перебил Обломов. – Что ты все врешь!

– И нечистоту не я выдумал.

– У тебя вот там мыши бегают по ночам – я слышу.

– И мышей не я выдумал. Этой твари, что мышей, что кошек, что клопов, везде много.

– Как же у других не бывает ни моли, ни клопов?

На лице Захара выразилась недоверчивость, или, лучше сказать, покойная уверенность, что этого не бывает.

– У меня всего много, – сказал он упрямо, – за всяким клопом не усмотришь, в щелку к нему не влезешь.

А сам, кажется, думал: «Да и что за спанье без клопа?»

– Ты мети, выбирай сор из углов – и не будет ничего, – учил Обломов.

– Уберешь, а завтра опять наберется, – говорил Захар.

– Не наберется, – перебил барин, – не должно.

– Наберется – я знаю, – твердил слуга.

– А наберется, так опять вымети.

– Как это? Всякий день перебирай все углы? – спросил Захар. – Да что ж это за жизнь? Лучше бог по душу пошли!

– Отчего ж у других чисто? – возразил Обломов. – Посмотри напротив, у настройщика: любо взглянуть, а всего одна девка…

– А где немцы сору возьмут? – вдруг возразил Захар. – Вы поглядите-ка, как они живут! Вся семья целую неделю кость гложет. Сюртук с плеч отца переходит на сына, а с сына опять на отца. На жене и дочерях платьишки коротенькие: всё поджимают под себя ноги, как гусыни… Где им сору взять? У них нет этого вот, как у нас, чтоб в шкафах лежала по годам куча старого изношенного платья или набрался целый угол корок хлеба за зиму… У них и корка зря не валяется: наделают сухариков да с пивом и выпьют!

Захар даже сквозь зубы плюнул, рассуждая о таком скаредном житье.

– Нечего разговаривать! – возразил Илья Ильич. – Ты лучше убирай.

– Иной раз и убрал бы, да вы же сами не даете, – сказал Захар.

– Пошел свое! Всё, видишь, я мешаю.

– Конечно вы; всё дома сидите: как при вас станешь убирать? Уйдите на целый день, так и уберу.

– Вот еще выдумал что – уйти! Поди-ка ты лучше к себе.

– Да право! – настаивал Захар. – Вот, хоть бы сегодня ушли, мы бы с Анисьей и убрали все. И то не управимся вдвоем-то: надо еще баб нанять, перемыть все.

– Э! какие затеи – баб! Ступай себе, – говорил Илья Ильич.

Он уж был не рад, что вызвал Захара на этот разговор. Он все забывал, что чуть тронешь этот деликатный предмет, так и не оберешься хлопот.

Обломову и хотелось бы, чтоб было чисто, да он бы желал, чтоб это сделалось как-нибудь так, незаметно, само собой; а Захар всегда заводил тяжбу, лишь только начинали требовать от него сметания пыли, мытья полов и т. п. Он в таком случае станет доказывать необходимость громадной возни в доме, зная очень хорошо, что одна мысль об этом приводила барина его в ужас.

Захар ушел, а Обломов погрузился в размышления. Чрез несколько минут пробило еще полчаса.

– Что это? – почти с ужасом сказал Илья Ильич. – Одиннадцать часов скоро, а я еще не встал, не умылся до сих пор? Захар, Захар!

– Ах ты, боже мой! Ну! – послышалось из передней, и потом известный прыжок.

– Умыться готово? – спросил Обломов.

– Готово давно! – отвечал Захар. – Чего вы не встаете?

– Что ж ты не скажешь, что готово? Я бы уж и встал давно. Поди же, я сейчас иду вслед за тобою. Мне надо заниматься, я сяду писать.

Захар ушел, но чрез минуту воротился с исписанной и замасленной тетрадкой и клочками бумаги.

– Вот, коли будете писать, так уж кстати извольте и счеты поверить: надо деньги заплатить.

– Какие счеты? Какие деньги? – с неудовольствием спросил Илья Ильич.

– От мясника, от зеленщика, от прачки, от хлебника: все денег просят.

– Только о деньгах и забота! – ворчал Илья Ильич. – А ты что понемногу не подаешь счеты, а все вдруг?

– Вы же ведь все прогоняли меня: завтра да завтра…

– Ну, так и теперь разве нельзя до завтра?

– Нет! Уж очень пристают: больше не дают в долг. Нынче первое число.

– Ах! – с тоской сказал Обломов. – Новая забота! Ну, что стоишь? Положи на стол. Я сейчас встану, умоюсь и посмотрю, – сказал Илья Ильич. – Так умыться-то готово?

– Готово! – сказал Захар.

– Ну, теперь…

Он начал было, кряхтя, приподниматься на постели, чтоб встать.

– Я забыл вам сказать, – начал Захар, – давеча, как вы еще почивали, управляющий дворника прислал: говорит, что непременно надо съехать… квартира нужна.

– Ну, что ж такое? Если нужна, так, разумеется, съедем. Что ты пристаешь ко мне? Уж ты третий раз говоришь мне об этом.

– Ко мне пристают тоже.

– Скажи, что съедем.

– Они говорят: вы уж с месяц, говорят, обещали, а все не съезжаете, мы, говорят, полиции дадим знать.

– Пусть дают знать! – сказал решительно Обломов. – Мы и сами переедем, как потеплее будет, недели через три.

– Куда недели через три! Управляющий говорит, что чрез две недели рабочие придут: ломать все будут… «Съезжайте, говорит, завтра или послезавтра…»

– Э-э-э! слишком проворно! Видишь, еще что! Не сейчас ли прикажете? А ты мне не смей и напоминать о квартире. Я уж тебе запретил раз; а ты опять. Смотри!

– Что ж мне делать-то? – отозвался Захар.

– Что ж делать? – вот он чем отделывается от меня! – отвечал Илья Ильич. – Он меня спрашивает! Мне что за дело? Ты не беспокой меня, а там, как хочешь, так и распорядись, только чтоб не переезжать. Не может постараться для барина!

– Да как же, батюшка, Илья Ильич, я распоряжусь? – начал мягким сипеньем Захар. – Дом-то не мой: как же из чужого дома не переезжать, коли гонят? Кабы мой дом был, так я бы с великим моим удовольствием…

– Нельзя ли их уговорить как-нибудь? «Мы, дескать, живем давно, платим исправно».

– Говорил, – сказал Захар.

– Ну, что ж они?

– Что! Наладили свое: «Переезжайте, говорят, нам нужно квартиру переделывать». Хотят из докторской и из этой одну большую квартиру сделать, к свадьбе хозяйского сына.

– Ах ты, боже мой! – с досадой сказал Обломов. – Ведь есть же этакие ослы, что женятся!

Он повернулся на спину.

– Вы бы написали, сударь, к хозяину, – сказал Захар, – так, может быть, он бы вас не тронул, а велел бы сначала вон ту квартиру ломать.

Захар при этом показал рукой куда-то направо.

– Ну, хорошо, как встану, напишу… Ты ступай к себе, а я подумаю. Ничего ты не умеешь сделать, – добавил он, – мне и об этой дряни надо самому хлопотать.

Захар ушел, а Обломов стал думать.

Но он был в затруднении, о чем думать: о письме ли старосты, о переезде ли на новую квартиру, приняться ли сводить счеты? Он терялся в приливе житейских забот и все лежал, ворочаясь с боку на бок. По временам только слышались отрывистые восклицания: «Ах, боже мой! Трогает жизнь, везде достает».

Неизвестно, долго ли бы еще пробыл он в этой нерешительности, но в передней раздался звонок.

– Уж кто-то и пришел! – сказал Обломов, кутаясь в халат. – А я еще не вставал – срам, да и только! Кто бы это так рано?

И он, лежа, с любопытством глядел на двери.

II

Вошел молодой человек лет двадцати пяти, блещущий здоровьем, с смеющимися щеками, губами и глазами. Зависть брала смотреть на него.

Он был причесан и одет безукоризненно, ослеплял свежестью лица, белья, перчаток и фрака. По жилету лежала изящная цепочка, с множеством мельчайших брелоков. Он вынул тончайший батистовый платок, вдохнул ароматы Востока, потом небрежно провел им по лицу, по глянцевитой шляпе и обмахнул лакированные сапоги.

– А, Волков, здравствуйте! – сказал Илья Ильич.

– Здравствуйте, Обломов, – говорил блистающий господин, подходя к нему.

– Не подходите, не подходите: вы с холода! – сказал тот.

– О, баловень, сибарит! – говорил Волков, глядя, куда бы положить шляпу, и, видя везде пыль, не положил никуда; раздвинул обе полы фрака, чтобы сесть, но, посмотрев внимательно на кресло, остался на ногах.

– Вы еще не вставали! Что это на вас за шлафрок? Такие давно бросили носить, – стыдил он Обломова.

– Это не шлафрок, а халат, – сказал Обломов, с любовью кутаясь в широкие полы халата.

– Здоровы ли вы? – спросил Волков.

– Какое здоровье! – зевая, сказал Обломов. – Плохо! приливы замучили. А вы как поживаете?

– Я? Ничего: здорово и весело, – очень весело! – с чувством прибавил молодой человек.

– Откуда вы так рано? – спросил Обломов.

– От портного. Посмотрите, хорош фрак? – говорил он, ворочаясь перед Обломовым.

– Отличный! С большим вкусом сшит, – сказал Илья Ильич, – только отчего он такой широкий сзади?

– Это рейт-фрак: для верховой езды.

– А! Вот что! Разве вы ездите верхом?

– Как же! К нынешнему дню и фрак нарочно заказывал. Ведь сегодня первое мая: с Горюновым едем в Екатерингоф. Ах! Вы не знаете! Горюнова Мишу произвели – вот мы сегодня и отличаемся, – в восторге добавил Волков.

– Вот как! – сказал Обломов.

– У него рыжая лошадь, – продолжал Волков, – у них в полку рыжие, а у меня вороная. Вы как будете: пешком или в экипаже?

– Да… никак, – сказал Обломов.

– Первого мая в Екатерингофе не быть! Что вы, Илья Ильич! – с изумлением говорил Волков. – Да там все!

– Ну, как все! Нет, не все! – лениво заметил Обломов.

– Поезжайте, душенька Илья Ильич! Софья Николаевна с Лидией будут в экипаже только две, напротив в коляске есть скамеечка: вот бы вы с ними…

– Нет, я не усядусь на скамеечке. Да и что стану я там делать?

– Ну так, хотите, Миша другую лошадь вам даст?

– Бог знает что выдумает! – почти про себя сказал Обломов. – Что вам дались Горюновы?

– Ах! – вспыхнув, произнес Волков. – Сказать?

– Говорите!

– Вы никому не скажете – честное слово? – продолжал Волков, садясь к нему на диван.

– Пожалуй.

– Я… влюблен в Лидию, – прошептал он.

– Браво! Давно ли? Она, кажется, такая миленькая.

– Вот уж три недели! – с глубоким вздохом сказал Волков. – А Миша в Дашеньку влюблен.

– В какую Дашеньку?

– Откуда вы, Обломов? Не знает Дашеньки! Весь город без ума, как она танцует! Сегодня мы с ним в балете; он бросит букет. Надо его ввести: он робок, еще новичок… Ах! ведь нужно ехать камелий достать…

– Куда еще? Полно вам, приезжайте-ка обедать: мы бы поговорили. У меня два несчастья…

– Не могу: я у князя Тюменева обедаю; там будут все Горюновы и она, она… Лиденька, – прибавил он шепотом. – Что это вы оставили князя? Какой веселый дом! На какую ногу поставлен! А дача! Утонула в цветах! Галерею пристроили, *gothique*[2]. Летом, говорят, будут танцы, живые картины. Вы *будете бывать*?

– Нет, я думаю, не буду.

– Ах, какой дом! Нынешнюю зиму по средам меньше пятидесяти человек не бывало, а иногда набиралось до ста…

– Боже ты мой! Вот скука-то должна быть адская!

– Как это можно? Скука! Да чем больше, тем веселей. Лидия бывала там, я ее не замечал, да вдруг…

Напрасно я забыть ее стараюсь
И страсть хочу рассудком победить… —

запел он и сел, забывшись, на кресло, но вдруг вскочил и стал отирать пыль с платья.

– Какая у вас пыль везде! – сказал он.

– Все Захар! – пожаловался Обломов.

– Ну, мне пора! – сказал Волков. – За камелиями для букета Мише. *Au revoir*[3].

– Приезжайте вечером чай пить, из балета: расскажете, как там что было, – приглашал Обломов.

– Не могу, дал слово к Муссинским: их день сегодня. Поедемте и вы. Хотите, я вас представлю?

– Нет, что там делать?

– У Муссинских? Помилуйте, да там полгорода бывает. Как что делать? Это такой дом, где обо всем говорят…

– Вот это-то и скучно, что обо всем, – сказал Обломов.

– Ну, посещайте Мездровых, – перебил Волков, – там уж об одном говорят, об искусствах; только и слышишь: венецианская школа, Бетховен да Бах, Леонардо да Винчи…

– Век об одном и том же – какая скука! Педанты, должно быть! – сказал, зевая, Обломов.

– На вас не угодишь. Да мало ли домов! Теперь у всех дни: у Савиновых по четвергам обедают, у Маклашиных – пятницы, у Вязниковых – воскресенья, у князя Тюменева – середы. У меня все дни заняты! – с сияющими глазами заключил Волков.

– И вам не лень мыкаться изо дня в день?

– Вот, лень! Что за лень? Превесело! – беспечно говорил он. – Утро почитаешь, надо быть *au courant*[4] всего, знать новости. Слава богу, у меня служба такая, что не нужно бывать в должности. Только два раза в неделю посижу да пообедаю у генерала, а потом поедешь с визитами, где давно не был; ну, а там… новая актриса, то на русском, то на французском театре.

---

[2] В готическом стиле (*фр.*).

[3] До свиданья (фр.).

[4] В курсе (*фр.*).

Вот опера будет, я абонируюсь. А теперь влюблен… Начинается лето; Мише обещали отпуск; поедем к ним в деревню на месяц, для разнообразия. Там охота. У них отличные соседи, дают *bals champêtres*[5]. С Лидией будем в роще гулять, кататься в лодке, рвать цветы… Ах!.. – И он перевернулся от радости. – Однако пора… Прощайте, – говорил он, напрасно стараясь оглядеть себя спереди и сзади в запыленное зеркало.

– Погодите, – удерживал Обломов, – я было хотел поговорить с вами о делах.

– *Pardon*[6], некогда, – торопился Волков, – в другой раз! А не хотите ли со мной есть устриц? Тогда и расскажете. Поедемте, Миша угощает.

– Нет, бог с вами! – говорил Обломов.

– Прощайте же.

Он пошел и вернулся.

– Видели это? – спросил он, показывая руку, как вылитую в перчатке.

– Что это такое? – спросил Обломов в недоумении.

– А новые *lacets!*[7] Видите, как отлично стягивает: не мучишься над пуговкой два часа; потянул шнурочек – и готово. Это только что из Парижа. Хотите, привезу вам на пробу пару?

– Хорошо, привезите! – говорил Обломов.

– А посмотрите это: не правда ли, очень мило? – говорил он, отыскав в куче брелок один, – визитная карточка с загнутым углом.

– Не разберу, что написано.

– *Pr. – prince M. – Michel*[8], – говорил Волков, – а фамилия Тюменев не уписалась; это он мне в Пасху подарил, вместо яичка. Но прощайте, *au revoir*. Мне еще в десять мест. Боже мой, что это за веселье на свете!

И он исчез.

«В десять мест в один день – несчастный! – думал Обломов. – И это жизнь! – Он сильно пожал плечами. – Где же тут человек? На что он раздробляется и рассыпается? Конечно, недурно заглянуть и в театр, и влюбиться в какую-нибудь Лидию… она миленькая! В деревне с ней цветы рвать, кататься – хорошо; да в десять мест в один день – несчастный!» – заключил он, перевертываясь на спину и радуясь, что нет у него таких пустых желаний и мыслей, что он не мыкается, а лежит вот тут, сохраняя свое человеческое достоинство и свой покой.

Новый звонок прервал его размышления.

Вошел новый гость.

Это был господин в темно-зеленом фраке с гербовыми пуговицами, гладко выбритый, с темными, ровно окаймлявшими его лицо бакенбардами, с утружденным, но покойно-сознательным выражением в глазах, с сильно потертым лицом, с задумчивой улыбкой.

– Здравствуй, Судьбинский! – весело поздоровался Обломов. – Насилу заглянул к старому сослуживцу! Не подходи, не подходи! Ты с холоду.

– Здравствуй, Илья Ильич. Давно собирался к тебе, – говорил гость, – да ведь ты знаешь, какая у нас дьявольская служба! Вон, посмотри, целый чемодан везу к докладу; и теперь, если там спросят что-нибудь, велел курьеру скакать сюда. Ни минуты нельзя располагать собой.

– Ты еще на службу? Что так поздно? – спросил Обломов. – Бывало, ты с десяти часов…

– Бывало – да; а теперь другое дело: в двенадцать часов езжу. – Он сделал на последнем слове ударение.

– А! догадываюсь! – сказал Обломов. – Начальник отделения! Давно ли?

Судьбинский значительно кивнул головой.

---

[5] Балы на лоне природы (*фр.*).

[6] Извините (*фр.*).

[7] Шнурки (*фр.*).

[8] Князь М. Мишель (*фр.*).

– К Святой, – сказал он. – Но сколько дела – ужас! С восьми до двенадцати часов дома, с двенадцати до пяти в канцелярии, да вечером занимаюсь. От людей отвык совсем!

– Гм! Начальник отделения – вот как! – сказал Обломов. – Поздравляю! Каков? А вместе канцелярскими чиновниками служили. Я думаю, на будущий год в статские махнешь.

– Куда! Бог с тобой! Еще нынешний год корону надо получить; думал, за отличие представят, а теперь новую должность занял: нельзя два года сряду…

– Приходи обедать, выпьем за повышение! – сказал Обломов.

– Нет, сегодня у вице-директора обедаю. К четвергу надо приготовить доклад – адская работа! На представления из губерний положиться нельзя. Надо проверить самому списки. Фома Фомич такой мнительный: все хочет сам. Вот сегодня вместе после обеда и засядем.

– Ужели и после обеда? – спросил Обломов недоверчиво.

– А как ты думал? Еще хорошо, если пораньше отделаюсь да успею хоть в Екатерингоф прокатиться… Да, я заехал спросить: не поедешь ли ты на гулянье? Я бы заехал…

– Нездоровится что-то, не могу! – сморщившись, сказал Обломов. – Да и дела много… нет, не могу!

– Жаль! – сказал Судьбинский. – А день хорош. Только сегодня и надеюсь вздохнуть.

– Ну, что нового у вас? – спросил Обломов.

– Да много кое-чего: в письмах отменили писать «покорнейший слуга», пишут «примите уверение»; формулярных списков по два экземпляра не велено представлять. У нас прибавляют три стола и двух чиновников особых поручений. Нашу комиссию закрыли… Много!

– Ну, а что наши бывшие товарищи?

– Ничего пока; Свинкин дело потерял!

– В самом деле? Что ж директор? – спросил Обломов дрожащим голосом. Ему, по старой памяти, страшно стало.

– Велел задержать награду, пока не отыщется. Дело важное: «о взысканиях». Директор думает, – почти шепотом прибавил Судьбинский, – что он потерял его… нарочно.

– Не может быть! – сказал Обломов.

– Нет, нет! Это напрасно, – с важностью и покровительством подтвердил Судьбинский. – Свинкин ветреная голова. Иногда черт знает какие тебе итоги выведет, перепутает все справки. Я измучился с ним; а только нет, он не замечен ни в чем таком… Он не сделает, нет, нет! Завалялось дело где-нибудь; после отыщется.

– Так вот как: всё в трудах, – говорил Обломов, – работаешь.

– Ужас, ужас! Ну, конечно, с таким человеком, как Фома Фомич, приятно служить: без наград не оставляет; кто и ничего не делает, и тех не забудет. Как вышел срок – за отличие, так и представляет; кому не вышел срок к чину, к кресту, – деньги выхлопочет…

– Ты сколько получаешь?

– Да что: тысяча двести рублей жалованья, особо столовых семьсот пятьдесят, квартирных шестьсот, пособия девятьсот, на разъезды пятьсот, да награды рублей до тысячи.

– Фу! черт возьми! – сказал, вскочив с постели, Обломов. – Голос, что ли, у тебя хорош? Точно итальянский певец!

– Что еще это! Вон Пересветов прибавочные получает, а дела-то меньше моего делает и не смыслит ничего. Ну, конечно, он не имеет такой репутации. Меня очень ценят, – скромно прибавил он, потупя глаза, – министр недавно выразился про меня, что я «украшение министерства».

– Молодец! – сказал Обломов. – Вот только работать с восьми часов до двенадцати, с двенадцати до пяти, да дома еще – ой, ой!

Он покачал головой.

– А что ж бы я стал делать, если б не служил? – спросил Судьбинский.

– Мало ли что! Читал бы, писал… – сказал Обломов.

– Я и теперь только и делаю, что читаю да пишу.

– Да это не то; ты бы печатал…

– Не всем же быть писателями. Вот и ты ведь не пишешь, – возразил Судьбинский.

– Зато у меня имение на руках, – со вздохом сказал Обломов. – Я соображаю новый план; разные улучшения ввожу. Мучаюсь, мучаюсь… А ты ведь чужое делаешь, не свое.

– Что ж делать! Надо работать, коли деньги берешь. Летом отдохну: Фома Фомич обещает выдумать командировку нарочно для меня… вот, тут получу прогоны на пять лошадей, суточных рубля по три в сутки, а потом награду…

– Эк ломят! – с завистью говорил Обломов; потом вздохнул и задумался.

– Деньги нужны: осенью женюсь, – прибавил Судьбинский.

– Что ты! В самом деле? На ком? – с участием сказал Обломов.

– Не шутя, на Мурашиной. Помнишь, подле меня на даче жили? Ты пил чай у меня и, кажется, видел ее.

– Нет, не помню! Хорошенькая? – спросил Обломов.

– Да, мила. Поедем, если хочешь, к ним обедать…

Обломов замялся.

– Да… хорошо, только…

– На той неделе, – сказал Судьбинский.

– Да, да, на той неделе, – обрадовался Обломов, – у меня еще платье не готово. Что ж, хорошая партия?

– Да, отец действительный статский советник; десять тысяч дает, квартира казенная. Он нам целую половину отвел, двенадцать комнат; мебель казенная, отопление, освещение тоже: можно жить…

– Да, можно! Еще бы! Каков Судьбинский! – прибавил, не без зависти, Обломов.

– На свадьбу, Илья Ильич, шафером приглашаю: смотри…

– Как же, непременно! – сказал Обломов. – Ну, а что Кузнецов, Васильев, Махов?

– Кузнецов женат давно, Махов на мое место поступил, а Васильева перевели в Польшу. Ивану Петровичу дали Владимира, Олешкин – его превосходительство.

– Он добрый малый! – сказал Обломов.

– Добрый, добрый; он стоит.

– Очень добрый, характер мягкий, ровный, – говорил Обломов.

– Такой обязательный, – прибавил Судьбинский, – и нет этого, знаешь, чтоб выслужиться, подгадить, подставить ногу, опередить… все делает, что может.

– Прекрасный человек! Бывало, напутаешь в бумаге, недоглядишь, не то мнение или законы подведешь в записке, ничего: велит только другому переделать. Отличный человек! – заключил Обломов.

– А вот наш Семен Семеныч так неисправим, – сказал Судьбинский, – только мастер пыль в глаза пускать. Недавно что он сделал: из губерний поступило представление о возведении при зданиях, принадлежащих нашему ведомству, собачьих конур для сбережения казенного имущества от расхищения; наш архитектор, человек дельный, знающий и честный, составил очень умеренную смету; вдруг показалась ему велика, и давай наводить справки, что может стоить постройка собачьей конуры? Нашел где-то тридцатью копейками меньше – сейчас докладную записку…

Раздался еще звонок.

– Прощай, – сказал чиновник, – я заболтался, что-нибудь понадобится там…

– Посиди еще, – удерживал Обломов. – Кстати, я посоветуюсь с тобой: у меня два несчастья…

– Нет, нет, я лучше опять заеду на днях, – сказал он, уходя.

«Увяз, любезный друг, по уши увяз, – думал Обломов, провожая его глазами. – И слеп, и глух, и нем для всего остального в мире. А выйдет в люди, будет со временем ворочать делами и чинов нахватает… У нас это называется тоже карьерой! А как мало тут человека-то нужно: ума его, воли, чувства – зачем это? Роскошь! И проживет свой век, и не пошевелится в нем многое, многое… А между тем работает с двенадцати до пяти в канцелярии, с восьми до двенадцати дома – несчастный!»

Он испытал чувство мирной радости, что он с девяти до трех, с восьми до девяти может пробыть у себя на диване, и гордился, что не надо идти с докладом, писать бумаг, что есть простор его чувствам, воображению.

Обломов философствовал и не заметил, что у постели его стоял очень худощавый черненький господин, заросший весь бакенбардами, усами и эспаньолкой. Он был одет с умышленной небрежностью.

– Здравствуйте, Илья Ильич.

– Здравствуйте, Пенкин; не подходите, не подходите: вы с холода! – говорил Обломов.

– Ах вы, чудак! – сказал тот. – Все такой же неисправимый, беззаботный ленивец!

– Да, беззаботный! – сказал Обломов. – Вот я вам сейчас покажу письмо от старосты: ломаешь, ломаешь голову, а вы говорите: беззаботный! Откуда вы?

– Из книжной лавки: ходил узнать, не вышли ли журналы. Читали мою статью?

– Нет.

– Я вам пришлю, прочтите.

– О чем? – спросил сквозь сильную зевоту Обломов.

– О торговле, об эмансипации женщин, о прекрасных апрельских днях, какие выпали нам на долю, и о вновь изобретенном составе против пожаров. Как это вы не читаете? Ведь тут наша вседневная жизнь. А пуще всего я ратую за реальное направление в литературе.

– Много у вас дела? – спросил Обломов.

– Да, довольно. Две статьи в газету каждую неделю, потом разборы беллетристов пишу, да вот написал рассказ…

– О чем?

– О том, как в одном городе городничий бьет мещан по зубам…

– Да, это в самом деле реальное направление, – сказал Обломов.

– Не правда ли? – подтвердил обрадованный литератор. – Я провожу вот какую мысль и знаю, что она новая и смелая. Один проезжий был свидетелем этих побоев и при свидании с губернатором пожаловался ему. Тот приказал чиновнику, ехавшему туда на следствие, мимоходом удостовериться в этом и вообще собрать сведения о личности и поведении городничего. Чиновник созвал мещан, будто расспросить о торговле, а между тем давай разведывать и об этом. Что ж мещане? Кланяются да смеются и городничего превозносят похвалами. Чиновник стал узнавать стороной, и ему сказали, что мещане – мошенники страшные, торгуют гнилью, обвешивают, обмеривают даже казну, все безнравственны, так что побои эти – праведная кара…

– Стало быть, побои городничего выступают в повести как *fatum*[9] древних трагиков? – сказал Обломов.

– Именно, – подхватил Пенкин. – У вас много такта, Илья Ильич, вам бы писать! А между тем мне удалось показать и самоуправство городничего, и развращение нравов в простонародье; дурную организацию действий подчиненных чиновников и необходимость строгих, но законных мер… Не правда ли, эта мысль… довольно новая?

– Да, в особенности для меня, – сказал Обломов, – я так мало читаю…

[9] Рок (*лат.*).

– В самом деле не видать книг у вас! – сказал Пенкин. – Но, умоляю вас, прочтите одну вещь; готовится великолепная, можно сказать, поэма: «Любовь взяточника к падшей женщине». Я не могу вам сказать, кто автор: это еще секрет.

– Что ж там такое?

– Обнаружен весь механизм нашего общественного движения, и все в поэтических красках. Все пружины тронуты; все ступени общественной лестницы перебраны. Сюда, как на суд, созваны автором и слабый, но порочный вельможа, и целый рой обманывающих его взяточников; и все разряды падших женщин разобраны… француженки, немки, чухонки, и всё, всё… с поразительной, животрепещущей верностью… Я слышал отрывки – автор велик! в нем слышится то Дант, то Шекспир…

– Вон куда хватили! – в изумлении сказал Обломов, привстав.

Пенкин вдруг смолк, видя, что действительно он далеко хватил.

– Вот вы прочтите, увидите сами, – добавил он уже без азарта.

– Нет, Пенкин, я не стану читать.

– Отчего ж? Это делает шум, об этом говорят…

– Да пускай их! Некоторым ведь больше нечего и делать, как только говорить. Есть такое призвание.

– Да хоть из любопытства прочтите.

– Чего я там не видал? – говорил Обломов. – Зачем это они пишут: только себя тешат…

– Как себя: верность-то, верность какая! До смеха похоже. Точно живые портреты. Как кого возьмут, купца ли, чиновника, офицера, будочника, – точно живьем и отпечатают.

– Из чего же они бьются: из потехи, что ли, что вот кого-де ни возьмем, а верно и выйдет? А жизни-то и нет ни в чем: нет понимания ее и сочувствия, нет того, что там у вас называется гуманитетом. Одно самолюбие только. Изображают-то они воров, падших женщин, точно ловят их на улице да отводят в тюрьму. В их рассказе слышны не «невидимые слезы», а один только видимый, грубый смех, злость…

– Что ж еще нужно? И прекрасно, вы сами высказались: это кипучая злость – желчное гонение на порок, смех презрения над падшим человеком… тут все!

– Нет, не все! – вдруг воспламенившись, сказал Обломов. – Изобрази вора, падшую женщину, надутого глупца, да и человека тут же не забудь. Где же человечность-то? Вы одной головой хотите писать! – почти шипел Обломов. – Вы думаете, что для мысли не надо сердца? Нет, она оплодотворяется любовью. Протяните руку падшему человеку, чтоб поднять его, или горько плачьте над ним, если он гибнет, а не глумитесь. Любите его, помните в нем самого себя и обращайтесь с ним, как с собой, – тогда я стану вас читать и склоню перед вами голову… – сказал он, улегшись опять покойно на диване. – Изображают они вора, падшую женщину, – говорил он, – а человека-то забывают или не умеют изобразить. Какое же тут искусство, какие поэтические краски нашли вы? Обличайте разврат, грязь, только, пожалуйста, без претензии на поэзию.

– Что же, природу прикажете изображать: розы, соловья или морозное утро, между тем как все кипит, движется вокруг? Нам нужна одна голая физиология общества; не до песен нам теперь…

– Человека, человека давайте мне! – говорил Обломов. – Любите его…

– Любить ростовщика, ханжу, ворующего или тупоумного чиновника – слышите? Что вы это? И видно, что вы не занимаетесь литературой! – горячился Пенкин. – Нет, их надо карать, извергнуть из гражданской среды, из общества…

– Извергнуть из гражданской среды! – вдруг заговорил вдохновенно Обломов, встав перед Пенкиным. – Это значит забыть, что в этом негодном сосуде присутствовало высшее начало; что он испорченный человек, но все человек же, то есть вы сами. Извергнуть! А как вы

извергнете из круга человечества, из лона природы, из милосердия божия? – почти крикнул он с пылающими глазами.

– Вон куда хватили! – в свою очередь с изумлением сказал Пенкин.

Обломов увидел, что и он далеко хватил. Он вдруг смолк, постоял с минуту, зевнул и медленно лег на диван.

Оба погрузились в молчание.

– Что ж вы читаете? – спросил Пенкин.

– Я… да все путешествия больше.

Опять молчание.

– Так прочтете поэму, когда выйдет? Я бы принес… – спросил Пенкин.

Обломов сделал отрицательный знак головой.

– Ну, я вам свой рассказ пришлю?

Обломов кивнул в знак согласия.

– Однако мне пора в типографию! – сказал Пенкин. – Я знаете зачем пришел к вам? Я хотел предложить вам ехать в Екатерингоф; у меня коляска. Мне завтра надо статью писать о гулянье: вместе бы наблюдать стали, чего бы не заметил я, вы бы сообщили мне; веселее бы было. Поедемте…

– Нет, нездоровится, – сказал Обломов, морщась и прикрываясь одеялом, – сырости боюсь, теперь еще не высохло. А вот вы бы сегодня обедать пришли: мы бы поговорили… У меня два несчастья…

– Нет, наша редакция вся у Сен-Жоржа сегодня, оттуда и поедем на гулянье. А ночью писать и чем свет в типографию отсылать. До свидания.

– До свиданья, Пенкин.

«Ночью писать, – думал Обломов, – когда же спать-то? А поди тысяч пять в год заработает! Это хлеб! Да писать-то все, тратить мысль, душу свою на мелочи, менять убеждения, торговать умом и воображением, насиловать свою натуру, волноваться, кипеть, гореть, не знать покоя и все куда-то двигаться… И все писать, все писать, как колесо, как машина: пиши завтра, послезавтра; праздник придет, лето настанет – а он все пиши? Когда же остановиться и отдохнуть? Несчастный!»

Он повернул голову к столу, где все было гладко, и чернила засохли, и пера не видать, и радовался, что лежит он, беззаботен, как новорожденный младенец, что не разбрасывается, не продает ничего…

«А письмо старосты, а квартира?» – вдруг вспомнил он и задумался.

Но вот опять звонят.

– Что это сегодня за раут у меня? – сказал Обломов и ждал, кто войдет.

Вошел человек неопределенных лет, с неопределенной физиономией, в такой поре, когда трудно бывает угадать лета; не красив и не дурен, не высок и не низок ростом, не блондин и не брюнет. Природа не дала ему никакой резкой, заметной черты, ни дурной, ни хорошей. Его многие называли Иваном Иванычем, другие – Иваном Васильичем, третьи – Иваном Михайлычем.

Фамилию его называли тоже различно: одни говорили, что он Иванов, другие звали Васильевым или Андреевым, третьи думали, что он Алексеев. Постороннему, который увидит его в первый раз, скажут имя его – тот забудет сейчас, и лицо забудет; что он скажет – не заметит. Присутствие его ничего не придаст обществу, так же как отсутствие ничего не отнимет от него. Остроумия, оригинальности и других особенностей, как особых примет на теле, в его уме нет.

Может быть, он умел бы, по крайней мере, рассказать все, что видел и слышал, и занять хоть этим других, но он нигде не бывал: как родился в Петербурге, так и не выезжал никуда; следовательно, видел и слышал то, что знали и другие.

Симпатичен ли такой человек? Любит ли, ненавидит ли, страдает ли? Должен бы, кажется, и любить, и не любить, и страдать, потому что никто не избавлен от этого. Но он как-то ухитряется всех любить. Есть такие люди, в которых, как ни бейся, не возбудишь никак духа вражды, мщения и т. п. Что ни делай с ними, они всё ласкаются. Впрочем, надо отдать им справедливость, что и любовь их, если разделить ее на градусы, до степени жара никогда не доходит. Хотя про таких людей говорят, что они любят всех и потому добры, а, в сущности, они никого не любят и добры потому только, что не злы.

Если при таком человеке подадут другие нищему милостыню – и он бросит ему свой грош, а если обругают, или прогонят, или посмеются – так и он обругает и посмеется с другими. Богатым его нельзя назвать, потому что он не богат, а скорее беден; но решительно бедным тоже не назовешь, потому, впрочем, только, что много есть беднее его.

Он имеет своего какого-то дохода рублей триста в год, и сверх того он служит в какой-то неважной должности и получает неважное жалованье: нужды не терпит и денег ни у кого не занимает, а занять у него и подавно в голову никому не приходит.

В службе у него нет особенного постоянного занятия, потому что никак не могли заметить сослуживцы и начальники, что он делает хуже, что лучше, так, чтоб можно было определить, к чему он именно способен. Если дадут сделать и то и другое, он так сделает, что начальник всегда затрудняется, как отозваться о его труде; посмотрит, посмотрит, почитает, почитает, да и скажет только: «Оставьте, я после посмотрю… да, оно почти так, как нужно».

Никогда не поймаешь на лице его следа заботы, мечты, что бы показывало, что он в эту минуту беседует сам с собою, или никогда тоже не увидишь, чтоб он устремил пытливый взгляд на какой-нибудь внешний предмет, который бы хотел усвоить своему ведению.

Встретится ему знакомый на улице. «Куда?» – спросит. «Да вот иду на службу, или в магазин, или проведать кого-нибудь». – «Пойдем лучше со мной, – скажет тот, – на почту, или зайдем к портному, или прогуляемся», – и он идет с ним, заходит и к портному, и на почту, и прогуливается в противуположную сторону от той, куда шел.

Едва ли кто-нибудь, кроме матери, заметил появление его на свет, очень немногие замечают его в течение жизни, но, верно, никто не заметит, как он исчезнет со света; никто не спросит, не пожалеет о нем, никто и не порадуется его смерти. У него нет ни врагов, ни друзей, но знакомых множество. Может быть, только похоронная процессия обратит на себя внимание прохожего, который почтит это неопределенное лицо в первый раз достающеюся ему почестью – глубоким поклоном; может быть, даже другой, любопытный, забежит вперед процессии узнать об имени покойника и тут же забудет его.

Весь этот Алексеев, Васильев, Андреев, или как хотите, есть какой-то неполный, безличный намек на людскую массу, глухое отзвучие, неясный ее отблеск.

Даже Захар, который, в откровенных беседах, на сходках у ворот или в лавочке, делал разную характеристику всех гостей, посещавших барина его, всегда затруднялся, когда очередь доходила до этого… положим хоть, Алексеева. Он долго думал, долго ловил какую-нибудь угловатую черту, за которую можно было бы уцепиться, в наружности, в манерах или в характере этого лица, наконец, махнув рукой, выражался так: «А у этого ни кожи, ни рожи, ни ведения!»

– А! – встретил его Обломов. – Это вы, Алексеев? Здравствуйте. Откуда? Не подходите, не подходите; я вам не дам руки: вы с холода!

– Что вы, какой холод! Я не думал к вам сегодня, – сказал Алексеев, – да Овчинин встретился и увез к себе. Я за вами, Илья Ильич.

– Куда это?

– Да к Овчинину-то, поедемте. Там Матвей Андреич Альянов, Казимир Альбертыч Пхайло, Василий Севастьяныч Колымягин.

– Что ж они там собрались и что им нужно от меня?

– Овчинин зовет вас обедать.

– Гм! Обедать… – повторил Обломов монотонно.

– А потом все в Екатерингоф отправляются; они велели сказать, чтоб вы коляску наняли.

– А что там делать?

– Как же! Нынче там гулянье. Разве не знаете: сегодня первое мая?

– Посидите; мы подумаем… – сказал Обломов.

– Вставайте же! Пора одеваться.

– Погодите немного; ведь рано.

– Что за рано! Они просили в двенадцать часов; отобедаем пораньше, часа в два, да и на гулянье. Едемте же скорей! Велеть вам одеваться давать?

– Куда одеваться? Я еще не умылся.

– Так умывайтесь.

Алексеев стал ходить взад и вперед по комнате, потом остановился перед картиной, которую видел тысячу раз прежде, взглянул мельком в окно, взял какую-то вещь с этажерки, повертел в руках, посмотрел со всех сторон и положил опять, а там пошел опять ходить, посвистывая, – это все, чтоб не мешать Обломову встать и умыться. Так прошло минут десять.

– Что ж вы? – вдруг спросил Алексеев Илью Ильича.

– Что?

– Да все лежите?

– А разве надо вставать?

– Как же! Нас дожидаются. Вы хотели ехать.

– Куда это ехать? Я не хотел ехать никуда…

– Вот, Илья Ильич, сейчас ведь говорили, что едем обедать к Овчинину, а потом в Екатерингоф…

– Это я по сырости поеду! И чего я там не видал? Вон дождь собирается, пасмурно на дворе, – лениво говорил Обломов.

– На небе ни облачка, а вы выдумали дождь. Пасмурно оттого, что у вас окошки-то с которых пор не мыты? Грязи-то, грязи на них! Зги божией не видно, да и одна штора почти совсем опущена.

– Да, вот подите-ка, заикнитесь об этом Захару, так он сейчас баб предложит да из дому погонит на целый день!

Обломов задумался, а Алексеев барабанил пальцами по столу, у которого сидел, рассеянно пробегая глазами по стенам и по потолку.

– Так как же нам? Что делать? Будете одеваться или останетесь так? – спросил он чрез несколько минут.

– А что?

– Да в Екатерингоф?..

– Дался вам этот Екатерингоф, право! – с досадой отозвался Обломов. – Не сидится вам здесь? Холодно, что ли, в комнате, или пахнет нехорошо, что вы так и смотрите вон?

– Нет, мне у вас всегда хорошо; я доволен, – сказал Алексеев.

– А коли хорошо тут, так зачем и хотеть в другое место? Останьтесь-ка лучше у меня на целый день, отобедайте, а там вечером – бог с вами!.. Да, я и забыл: куда мне ехать! Тарантьев обедать придет: сегодня суббота.

– Уж если оно так… я хорошо… как вы… – говорил Алексеев.

– А о делах своих я вам не говорил? – живо спросил Обломов.

– О каких делах? Не знаю, – сказал Алексеев, глядя на него во все глаза.

– Отчего я не встаю-то так долго? Ведь я вот тут лежал все да думал, как мне выпутаться из беды.

– Что такое? – спросил Алексеев, стараясь сделать испуганное лицо.

– Два несчастья! Не знаю, как и быть.

– Какие же?

– С квартиры гонят; вообразите – надо съезжать: ломки, возни… подумать страшно! Ведь восемь лет жил на квартире. Сыграл со мной штуку хозяин: «Съезжайте, говорит, поскорее».

– Еще поскорее! Торопит, стало быть нужно. Это очень несносно – переезжать: с переездкой всегда хлопот много, – сказал Алексеев, – растеряют, перебьют – очень скучно! А у вас такая славная квартира… вы что платите?

– Где сыщешь другую этакую, – говорил Обломов, – и еще второпях? Квартира сухая, теплая; в доме смирно: обокрали всего один раз! Вон потолок, кажется, и непрочен: штукатурка совсем отстала, – а все не валится.

– Скажите пожалуйста! – говорил Алексеев, качая головой.

– Как бы это устроить, чтоб… не съезжать? – в раздумье, про себя рассуждал Обломов.

– Да у вас по контракту нанята квартира? – спросил Алексеев, оглядывая комнату с потолка до полу.

– Да, только срок контракту вышел; я все это время платил помесячно… не помню только, с которых пор.

– Как же вы полагаете? – спросил, после некоторого молчания, Алексеев. – Съехать или оставаться?

– Никак не полагаю, – сказал Обломов, – мне и думать-то об этом не хочется. Пусть Захар что-нибудь придумает.

– А вот некоторые так любят переезжать, – сказал Алексеев, – в том только и удовольствие находят, как бы квартиру переменить…

– Ну, пусть эти «некоторые» и переезжают. А я терпеть не могу никаких перемен! Это еще что, квартира! – заговорил Обломов. – А вот посмотрите-ка, что староста пишет ко мне. Я вам сейчас покажу письмо… где бишь оно? Захар, Захар!

– Ах ты, владычица небесная! – захрипел у себя Захар, прыгая с печки. – Когда это Бог приберет меня?

Он вошел и мутно поглядел на барина.

– Что ж ты письмо не сыскал?

– А где я его сыщу? Разве я знаю, какое письмо вам нужно? Я не умею читать.

– Все равно поищи, – сказал Обломов.

– Вы сами какое-то письмо вчера вечером читали, – говорил Захар, – а после я не видал.

– Где же оно? – с досадой возразил Илья Ильич. – Я его не проглотил. Я очень хорошо помню, что ты взял у меня и куда-то вон тут положил. А то вот где оно, смотри!

Он тряхнул одеялом: из складок его выпало на пол письмо.

– Вот вы этак все на меня!.. – Ну, ну, поди, поди! – в одно и то же время закричали друг на друга Обломов и Захар. Захар ушел, а Обломов начал читать письмо, писанное точно квасом, на серой бумаге, с печатью из бурого сургуча. Огромные бледные буквы тянулись в торжественной процессии, не касаясь друг друга, по отвесной линии, от верхнего угла к нижнему. Шествие иногда нарушалось бледно-чернильным большим пятном.

«Милостивый государь, – начал Обломов, – ваше благородие, отец наш и кормилец, Илья Ильич…»

Тут Обломов пропустил несколько приветствий и пожеланий здоровья и продолжал с середины:

«Доношу твоей барской милости, что у тебя в вотчине, кормилец наш, все благополучно. Пятую неделю нет дождей: знать, прогневали Господа Бога, что нет дождей. Этакой засухи старики не запомнят; яровое так и палит, словно полымем. Озимь ино место червь сгубил, ино место ранние морозы сгубили; перепахали было на яровое, да не знамо, уродится ли что? Авось милосердый Господь помилует твою барскую милость, а о себе не заботимся: пусть издохнем.

А под Иванов день еще три мужика ушли: Лаптев, Балочов, да особо ушел Васька, кузнецов сын. Я баб погнал по мужей: бабы те не воротились, а проживают, слышно, в Челках, а в Челки поехал кум мой из Верхлева; управляющий послал его туда: соху, слышь, заморскую привезли, а управляющий послал кума в Челки оную соху посмотреть. Я наказывал куму о беглых мужиках; исправнику кланялся, сказал он: „Подай бумагу, и тогда всякое средствие будет исполнено, водворить крестьян ко дворам на место жительства“, и опричь того, ничего не сказал, а я пал в ноги ему и слезно умолял; а он закричал благим матом: „Пошел, пошел! тебе сказано, что будет исполнено – подай бумагу!“ А бумаги я не подавал. А нанять здесь некого: все на Волгу, на работу на барки ушли – такой нынче глупый народ стал здесь, кормилец наш, батюшка Илья Ильич! Холста нашего сей год на ярмарке не будет: сушильню и белильню я запер на замок и Сычуга приставил денно и ночно смотреть: он тверезый мужик; да чтобы не стянул чего господского, я смотрю за ним денно и ночно. Другие больно пьют и просятся на оброк. В недоимках недобор: нынешний год пошлем доходцу, будет, батюшка ты наш, благодетель, тысящи яко две помене против того года, что прошел, только бы засуха не разорила вконец, а то вышлем, о чем твоей милости и предлагаем».

Затем следовали изъявления преданности и подпись: «Староста твой, всенижайший раб Прокофий Вытягушкин собственной рукой руку приложил». За неумением грамоты поставлен был крест. «А писал со слов оного старосты шурин его, Демка Кривой».

Обломов взглянул на конец письма.

– Месяца и года нет, – сказал он, – должно быть, письмо валялось у старосты с прошлого года; тут и Иванов день, и засуха! Когда опомнился!

Он задумался.

– А? – продолжал он. – Каково вам покажется: предлагает «тысящи яко две помене»! Сколько же это останется? Сколько бишь я прошлый год получил? – спросил он, глядя на Алексеева. – Я не говорил вам тогда?

Алексеев обратил глаза к потолку и задумался.

– Надо Штольца спросить, как приедет, – продолжал Обломов, – кажется, тысяч семь, восемь… худо не записывать! Так он теперь сажает меня на шесть! Ведь я с голоду умру! Чем тут жить?

– Что ж так тревожиться, Илья Ильич? – сказал Алексеев. – Никогда не надо предаваться отчаянию: перемелется – мука будет.

– Да вы слышите, что он пишет? Чем бы денег прислать, утешить как-нибудь, а он, как на смех, только неприятности делает мне! И ведь всякий год! Вот я теперь сам не свой! «Тысящи яко две помене»!

– Да, большой убыток, – сказал Алексеев, – две тысячи – не шутка! Вот Алексей Логиныч, говорят, тоже получит нынешний год только двенадцать тысяч вместо семнадцати.

– Так двенадцать, а не шесть, – перебил Обломов. – Совсем расстроил меня староста! Если оно и в самом деле так: неурожай да засуха, так зачем огорчать заранее?

– Да… оно в самом деле… – начал Алексеев, – не следовало бы; но какой же деликатности ждать от мужика? Этот народ ничего не понимает.

– Ну, что бы вы сделали на моем месте? – спросил Обломов, глядя вопросительно на Алексеева, с сладкой надеждой, авось не выдумает ли, чем бы успокоить.

– Надо подумать, Илья Ильич, нельзя вдруг решить, – сказал Алексеев.

– К губернатору, что ли, написать! – в раздумье говорил Илья Ильич.

– А кто у вас губернатор? – спросил Алексеев.

Илья Ильич не отвечал и задумался. Алексеев замолчал и тоже о чем-то размышлял.

Обломов, комкая письмо в руках, подпер голову руками, а локти упер в коленки и так сидел несколько времени, мучимый приливом беспокойных мыслей.

– Хоть бы Штольц скорей приехал! – сказал он. – Пишет, что скоро будет, а сам черт знает где шатается! Он бы уладил.

Он опять пригорюнился. Долго молчали оба. Наконец Обломов очнулся первый.

– Вот тут что надо делать! – сказал он решительно и чуть было не встал с постели. – И делать как можно скорее, мешкать нечего… Во-первых…

В это время раздался отчаянный звонок в передней, так что Обломов с Алексеевым вздрогнули, а Захар мгновенно спрыгнул с лежанки.

III

– Дома? – громко и грубо кто-то спросил в передней.

– Куда об эту пору идти? – еще грубее отвечал Захар.

Вошел человек лет сорока, принадлежащий к крупной породе, высокий, объемистый в плечах и во всем туловище, с крупными чертами лица, с большой головой, с крепкой, коротенькой шеей, с большими навыкате глазами, толстогубый. Беглый взгляд на этого человека рождал идею о чем-то грубом и неопрятном. Видно было, что он не гонялся за изяществом костюма. Не всегда его удавалось видеть чисто обритым. Но ему, по-видимому, это было все равно; он не смущался от своего костюма и носил его с каким-то циническим достоинством.

Это был Михей Андреевич Тарантьев, земляк Обломова.

Тарантьев смотрел на все угрюмо, с полупрезрением, с явным недоброжелательством ко всему окружающему, готовый бранить все и всех на свете, как будто какой-нибудь обиженный несправедливостью или непризнанный в каком-то достоинстве, наконец как гонимый судьбою сильный характер, который недобровольно, неуныло покоряется ей.

Движения его были смелы и размашисты; говорил он громко, бойко и почти всегда сердито; если слушать в некотором отдалении, точно будто три пустые телеги едут по мосту. Никогда не стеснялся он ничьим присутствием и в карман за словом не ходил и вообще постоянно был груб в обращении со всеми, не исключая и приятелей, как будто давал чувствовать, что, заговаривая с человеком, даже обедая или ужиная у него, он делает ему большую честь.

Тарантьев был человек ума бойкого и хитрого; никто лучше его не рассудит какого-нибудь общего житейского вопроса или юридического запутанного дела: он сейчас построит теорию действий в том или другом случае и очень тонко подведет доказательства, а в заключение еще почти всегда нагрубит тому, кто с ним о чем-нибудь посоветуется.

Между тем сам как двадцать пять лет назад определился в какую-то канцелярию писцом, так в этой должности и дожил до седых волос. Ни ему самому и никому другому и в голову не приходило, чтоб он пошел выше.

Дело в том, что Тарантьев мастер был только говорить; на словах он решал все ясно и легко, особенно что касалось других; но как только нужно было двинуть пальцем, тронуться с места – словом, применить им же созданную теорию к делу и дать ему практический ход, оказать распорядительность, быстроту, – он был совсем другой человек: тут его не хватало – ему вдруг и тяжело делалось, и нездоровилось, то неловко, то другое дело случится, за которое он тоже не примется, а если и примется, так не дай бог что выйдет. Точно ребенок: там недоглядит, тут не знает каких-нибудь пустяков, там опоздает и кончит тем, что бросит дело на половине или примется за него с конца и так все изгадит, что и поправить никак нельзя, да еще он же потом и браниться станет.

Отец его, провинциальный подьячий старого времени, назначал было сыну в наследство искусство и опытность хождения по чужим делам и свое ловко пройденное поприще служения в присутственном месте; но судьба распорядилась иначе. Отец, учившийся сам когда-то по-русски на медные деньги, не хотел, чтоб сын его отставал от времени, и пожелал поучить чему-нибудь, кроме мудреной науки хождения по делам. Он года три посылал его к священнику учиться по-латыни.

Способный от природы мальчик в три года прошел латынскую грамматику и синтаксис и начал было разбирать Корнелия Непота, но отец решил, что довольно и того, что он знал, что уж и эти познания дают ему огромное преимущество над старым поколением и что, наконец, дальнейшие занятия могут, пожалуй, повредить службе в присутственных местах.

Шестнадцатилетний Михей, не зная, что делать с своей латынью, стал в доме родителей забывать ее, но зато, в ожидании чести присутствовать в земском или уездном суде, присут-

ствовал пока на всех пирушках отца, и в этой-то школе, среди откровенных бесед, до тонкости развился ум молодого человека.

Он с юношескою впечатлительностью вслушивался в рассказы отца и товарищей его о разных гражданских и уголовных делах, о любопытных случаях, которые проходили через руки всех этих подьячих старого времени.

Но все это ни к чему не повело. Из Михея не выработался делец и крючкотворец, хотя все старания отца и клонились к этому и, конечно, увенчались бы успехом, если б судьба не разрушила замыслов старика. Михей действительно усвоил себе всю теорию отцовских бесед, оставалось только применить ее к делу, но за смертью отца он не успел поступить в суд и был увезен в Петербург каким-то благодетелем, который нашел ему место писца в одном департаменте, да потом и забыл о нем.

Так Тарантьев и остался только теоретиком на всю жизнь. В петербургской службе ему нечего было делать с своею латынью и с тонкой теорией вершать по своему произволу правые и неправые дела; а между тем он носил и сознавал в себе дремлющую силу, запертую в нем враждебными обстоятельствами навсегда, без надежды на проявление, как бывали запираемы, по сказкам, в тесных заколдованных стенах духи зла, лишенные силы вредить. Может быть, от этого сознания бесполезной силы в себе Тарантьев был груб в обращении, недоброжелателен, постоянно сердит и бранчив.

Он с горечью и презрением смотрел на свои настоящие занятия: на переписыванье бумаг, на подшиванье дел и т. п. Ему вдали улыбалась только одна последняя надежда: перейти служить по винным откупам. На этой дороге он видел единственную выгодную замену поприща, завещанного ему отцом и не достигнутого. А в ожидании этого готовая и созданная ему отцом теория деятельности и жизни, теория взяток и лукавства, миновав главное и достойное ее поприще в провинции, применилась ко всем мелочам его ничтожного существования в Петербурге, вкралась во все его приятельские отношения за недостатком официальных.

Он был взяточник в душе, по теории, ухитрялся брать взятки, за неимением дел и просителей, с сослуживцев, с приятелей, бог знает как и за что – заставлял, где и кого только мог, то хитростью, то назойливостью, угощать себя, требовал от всех незаслуженного уважения, был придирчив. Его никогда не смущал стыд за поношенное платье, но он не чужд был тревоги, если в перспективе дня не было у него громадного обеда, с приличным количеством вина и водки.

От этого он в кругу своих знакомых играл роль большой сторожевой собаки, которая лает на всех, не дает никому пошевелиться, но которая в то же время непременно схватит на лету кусок мяса, откуда и куда бы он ни летел.

Таковы были два самые усердные посетителя Обломова.

Зачем эти два русские пролетария ходили к нему? Они очень хорошо знали зачем: пить, есть, курить хорошие сигары. Они находили теплый, покойный приют и всегда одинаково если не радушный, то равнодушный прием.

Но зачем пускал их к себе Обломов – в этом он едва ли отдавал себе отчет. А кажется, затем, зачем еще о сю пору в наших отдаленных Обломовках, в каждом зажиточном доме толпится рой подобных лиц обоего пола, без хлеба, без ремесла, без рук для производительности и только с желудком для потребления, но почти всегда с чином и званием.

Есть еще сибариты, которым необходимы такие дополнения в жизни: им скучно без лишнего на свете. Кто подаст куда-то запропастившуюся табакерку или поднимет упавший на пол платок? Кому можно пожаловаться на головную боль с правом на участие, рассказать дурной сон и потребовать истолкования? Кто почитает книжку на сон грядущий и поможет заснуть? А иногда такой пролетарий посылается в ближайший город за покупкой, поможет по хозяйству – не самим же мыкаться!

Тарантьев делал много шума, выводил Обломова из неподвижности и скуки. Он кричал, спорил и составлял род какого-то спектакля, избавляя ленивого барина самого от необходимости говорить и делать. В комнату, где царствовал сон и покой, Тарантьев приносил жизнь, движение, а иногда и вести извне. Обломов мог слушать, смотреть, не шевеля пальцем, на что-то бойкое, движущееся и говорящее перед ним. Кроме того, он еще имел простодушие верить, что Тарантьев в самом деле способен посоветовать ему что-нибудь путное.

Посещения Алексеева Обломов терпел по другой, не менее важной причине. Если он хотел жить по-своему, то есть лежать молча, дремать или ходить по комнате, Алексеева как будто не было тут: он тоже молчал, дремал или смотрел в книгу, разглядывал с ленивой зевотой до слез картинки и вещицы. Он мог так пробыть хоть трои сутки. Если же Обломову наскучивало быть одному и он чувствовал потребность выразиться, говорить, читать, рассуждать, проявить волнение, – тут был всегда покорный и готовый слушатель и участник, разделявший одинаково согласно и его молчание, и его разговор, и волнение, и образ мыслей, каков бы он ни был.

Другие гости заходили нечасто, на минуту, как первые три гостя; с ними со всеми все более и более порывались живые связи. Обломов иногда интересовался какой-нибудь новостью, пятиминутным разговором, потом, удовлетворенный этим, молчал. Им надо было платить взаимностью, принимать участие в том, что их интересовало. Они купались в людской толпе; всякий понимал жизнь по-своему, как не хотел понимать ее Обломов, а они путали в нее и его: все это не нравилось ему, отталкивало его, было ему не по душе.

Был ему по сердцу один человек: тот тоже не давал ему покоя; он любил и новости, и свет, и науку, и всю жизнь, но как-то глубже, искреннее – и Обломов хотя был ласков со всеми, но любил искренно его одного, верил ему одному, может быть потому, что рос, учился и жил с ним вместе. Это Андрей Иванович Штольц.

Он был в отлучке, но Обломов ждал его с часу на час.

IV

– Здравствуй, земляк, – отрывисто сказал Тарантьев, протягивая мохнатую руку к Обломову. – Что ты это лежишь по сю пору, как колода?

– Не подходи, не подходи: ты с холода! – говорил Обломов, прикрываясь одеялом.

– Вот еще что выдумал, с холода! – заголосил Тарантьев. – Ну, ну, бери руку, коли дают! Скоро двенадцать часов, а он валяется!

Он хотел приподнять Обломова с постели, но тот предупредил его, опустив быстро ноги и сразу попав ими в обе туфли.

– Я сам сейчас хотел вставать, – сказал он, зевая.

– Знаю я, как ты встаешь: ты бы тут до обеда провалялся. Эй, Захар! Где ты там, старый дурак? Давай скорей одеваться барину.

– А вы заведите-ка прежде своего Захара, да и лайтесь тогда! – заговорил Захар, войдя в комнату и злобно поглядывая на Тарантьева. – Вон натоптали как, словно разносчик! – прибавил он.

– Ну, еще разговаривает, образина! – говорил Тарантьев и поднял ногу, чтобы сзади ударить проходившего мимо Захара; но Захар остановился, обернулся к нему и ощетинился.

– Только вот троньте! – яростно захрипел он. – Что это такое? Я уйду… – сказал он, идучи назад к дверям.

– Да полно тебе, Михей Андреич, какой ты неугомонный! Ну, что ты его трогаешь? – сказал Обломов. – Давай, Захар, что нужно!

Захар воротился и, косясь на Тарантьева, проворно шмыгнул мимо его.

Обломов, облокотясь на него, нехотя, как очень утомленный человек, привстал с постели и, нехотя же перейдя на большое кресло, опустился в него и остался неподвижен, как сел.

Захар взял со столика помаду, гребенку и щетки, напомадил ему голову, сделал пробор и потом причесал его щеткой.

– Умываться теперь, что ли, будете? – спросил он.

– Немного погожу еще, – отвечал Обломов, – а ты поди себе.

– Ах, да и вы тут? – вдруг сказал Тарантьев, обращаясь к Алексееву в то время, как Захар причесывал Обломова. – Я вас и не видал. Зачем вы здесь? Что это ваш родственник какая свинья! Я вам все хотел сказать…

– Какой родственник? У меня никакого родственника нет, – робко отвечал оторопевший Алексеев, выпуча глаза на Тарантьева.

– Ну, вот этот, что еще служит тут, как его?.. Афанасьев зовут. Как же не родственник? – родственник.

– Да я не Афанасьев, а Алексеев, – сказал Алексеев, – у меня нет родственника.

– Вот еще не родственник! Такой же, как вы, невзрачный, и зовут тоже Васильем Николаичем.

– Ей-богу, не родня; меня зовут Иваном Алексеичем.

– Ну, все равно, похож на вас. Только он свинья; вы ему скажите это, как увидите.

– Я его не знаю, не видал никогда, – говорил Алексеев, открывая табакерку.

– Дайте-ка табаку! – сказал Тарантьев. – Да у вас простой, не французский? Так и есть, – сказал он, понюхав, – отчего не французский? – строго прибавил потом. – Да, еще этакой свиньи я не видывал, как ваш родственник, – продолжал Тарантьев. – Взял я когда-то у него, уж года два будет, пятьдесят рублей взаймы. Ну, велики ли деньги пятьдесят рублей? Как, кажется, не забыть? Нет, помнит: через месяц, где ни встретит: «А что ж должок?» – говорит. Надоел! Мало того, вчера к нам в департамент пришел: «Верно, вы, говорит, жалованье получили, теперь можете отдать». Дал я ему жалованье: пошел при всех срамить, так он насилу

двери нашел. «Бедный человек, самому надо!» Как будто мне не надо! Я что за богач, чтоб ему по пятидесяти рублей отваливать! Дай-ка, земляк, сигару.

– Сигары вон там, в коробочке, – отвечал Обломов, указывая на этажерку.

Он задумчиво сидел в креслах, в своей лениво-красивой позе, не замечая, что вокруг него делалось, не слушая, что говорилось. Он с любовью рассматривал и гладил свои маленькие, белые руки.

– Э! Да это все те же? – строго спросил Тарантьев, вынув сигару и поглядывая на Обломова.

– Да, те же, – отвечал Обломов машинально.

– А я говорил тебе, чтоб ты купил других, заграничных? Вот как ты помнишь, что тебе говорят! Смотри же, чтоб к следующей субботе непременно было, а то долго не приду. Вишь ведь какая дрянь! – продолжал он, закурив сигару и пустив одно облако дыма на воздух, а другое втянув в себя. – Курить нельзя.

– Ты рано сегодня пришел, Михей Андреич, – сказал Обломов, зевая.

– Что ж, я надоел тебе, что ли?

– Нет, я так только заметил; ты обыкновенно к обеду прямо приходишь, а теперь только еще первый час.

– Я нарочно заранее пришел, чтоб узнать, какой обед будет. Ты все дрянью кормишь меня, так я вот узнаю, что-то ты велел готовить сегодня.

– Узнай там, на кухне, – сказал Обломов.

Тарантьев вышел.

– Помилуй! – сказал он, воротясь. – Говядина и телятина! Эх, брат Обломов, не умеешь ты жить, а еще помещик! Какой ты барин? По-мещански живешь; не умеешь угостить приятеля! Ну, мадера-то куплена?

– Не знаю, спроси у Захара, – почти не слушая его, сказал Обломов, – там, верно, есть вино.

– Это прежняя-то, от немца? Нет, изволь в английском магазине купить.

– Ну, и этой довольно, – сказал Обломов, – а то еще посылать!

– Да постой, дай деньги, я мимо пойду и принесу; мне еще надо кое-куда сходить.

Обломов порылся в ящике и вынул тогдашнюю красненькую десятирублевую бумажку.

– Мадера семь рублей стоит, – сказал Обломов, – а тут десять.

– Так дай все: там дадут сдачи, не бойся!

Он выхватил из рук Обломова ассигнацию и проворно спрятал в карман.

– Ну, я пойду, – сказал Тарантьев, надевая шляпу, – а к пяти часам буду: мне надо кое-куда зайти: обещали место в питейной конторе, так велели понаведаться… Да вот что, Илья Ильич: не наймешь ли ты коляску сегодня, в Екатерингоф ехать? И меня бы взял.

Обломов покачал головой в знак отрицания.

– Что, лень или денег жаль? Эх ты, мешок! – сказал он. – Ну, прощай пока…

– Постой, Михей Андреич, – прервал Обломов, – мне надо кое о чем посоветоваться с тобой.

– Что еще там? Говори скорей: мне некогда.

– Да вот на меня два несчастья вдруг обрушились. С квартиры гонят…

– Видно, не платишь: и поделом! – сказал Тарантьев и хотел идти.

– Поди ты! Я всегда вперед отдаю. Нет, тут хотят другую квартиру отделывать… Да постой! Куда ты? Научи, что делать: торопят, через неделю чтоб съехали…

– Что я за советник тебе достался?.. Напрасно ты воображаешь…

– Я совсем ничего не воображаю, – сказал Обломов, – не шуми и не кричи, а лучше подумай, что делать. Ты человек практический…

Тарантьев уже не слушал его и о чем-то размышлял.

– Ну, так и быть, благодари меня, – сказал он, снимая шляпу и садясь, – и вели к обеду подать шампанское: дело твое сделано.

– Что такое? – спросил Обломов.

– Шампанское будет?

– Пожалуй, если совет стоит…

– Нет, сам-то ты не стоишь совета. Что я тебе даром-то стану советовать? Вон спроси его, – прибавил он, указывая на Алексеева, – или у родственника его.

– Ну, ну, полно, говори! – просил Обломов.

– Вот что: завтра же изволь переезжать на квартиру…

– Э! Что придумал! Это я и сам знал…

– Постой, не перебивай! – закричал Тарантьев. – Завтра переезжай на квартиру к моей куме, на Выборгскую сторону…

– Это что за новости? На Выборгскую сторону! Да туда, говорят, зимой волки забегают.

– Случается, забегают с островов, да тебе что до этого за дело?

– Там скука, пустота, никого нет.

– Врешь! Там кума моя живет; у ней свой дом, с большими огородами. Она женщина благородная, вдова, с двумя детьми; с ней живет холостой брат: голова, не то, что вот эта, что тут в углу сидит, – сказал он, указывая на Алексеева, – нас с тобой за пояс заткнет!

– Да что ж мне до всего до этого за дело? – сказал с нетерпением Обломов. – Я туда не перееду.

– А вот я посмотрю, как ты не переедешь. Нет, уж коли спросил совета, так слушайся, что говорят.

– Я не перееду, – решительно сказал Обломов.

– Ну, так черт с тобой! – отвечал Тарантьев, нахлобучив шляпу, и пошел к дверям.

– Чудак ты этакой! – воротясь, сказал Тарантьев. – Что тебе здесь сладко кажется?

– Как что? От всего близко, – говорил Обломов, – тут и магазины, и театр, и знакомые… центр города, всё…

– Что-о? – перебил Тарантьев. – А давно ли ты ходил со двора, скажи-ка? Давно ли ты был в театре? К каким знакомым ходишь? На кой черт тебе этот центр, позволь спросить!

– Ну как зачем? Мало ли зачем!

– Видишь, и сам не знаешь! А там, подумай: ты будешь жить у кумы моей, благородной женщины, в покое, тихо; никто тебя не тронет; ни шуму, ни гаму, чисто, опрятно. Посмотрика, ведь ты живешь точно на постоялом дворе, а еще барин, помещик! А там чистота, тишина; есть с кем и слово перемолвить, как соскучишься. Кроме меня, к тебе и ходить никто не будет. Двое ребятишек – играй с ними, сколько хочешь! Чего тебе? А выгода-то, выгода какая. Ты что здесь платишь?

– Полторы тысячи.

– А там тысячу рублей почти за целый дом! Да какие светленькие, славные комнаты! Она давно хотела тихого, аккуратного жильца иметь – вот я тебя и назначаю…

Обломов рассеянно покачал головой в знак отрицания.

– Врешь, переедешь! – сказал Тарантьев. – Ты рассуди, что тебе ведь это вдвое меньше станет: на одной квартире пятьсот рублей выгадаешь. Стол у тебя будет вдвое лучше и чище; ни кухарка, ни Захар воровать не будут…

В передней послышалось ворчанье.

– И порядка больше, – продолжал Тарантьев, – ведь теперь скверно у тебя за стол сесть! Хватишься перцу – нет, уксусу не куплено, ножи не чищены; белье, ты говоришь, пропадает, пыль везде – ну, мерзость! А там женщина будет хозяйничать: ни тебе, ни твоему дураку, Захару…

Ворчанье в передней раздалось сильнее.

– Этому старому псу, – продолжал Тарантьев, – ни о чем и подумать не придется: на всем готовом будешь жить. Что тут размышлять? Переезжай, да и конец…

– Да как же это я вдруг, ни с того ни с сего, на Выборгскую сторону…

– Поди с ним! – говорил Тарантьев, отирая пот с лица. – Теперь лето: ведь это все равно что дача. Что ты гниешь здесь летом-то, в Гороховой?.. Там Безбородкин сад, Охта под боком, Нева в двух шагах, свой огород – ни пыли, ни духоты! Нечего и думать: я сейчас же до обеда слетаю к ней – ты дай мне на извозчика, – и завтра же переезжать…

– Что это за человек! – сказал Обломов. – Вдруг выдумает черт знает что: на Выборгскую сторону… Это не мудрено выдумать. Нет, вот ты ухитрись выдумать, чтоб остаться здесь. Я восемь лет живу, так менять-то не хочется…

– Это кончено: ты переедешь. Я сейчас еду к куме, про место в другой раз наведаюсь…

Он было пошел.

– Постой, постой! Куда ты? – остановил его Обломов. – У меня еще есть дело, поважнее. Посмотри, какое я письмо от старосты получил, да реши, что мне делать.

– Видишь, ведь ты какой уродился! – возразил Тарантьев. – Ничего не умеешь сам сделать. Все я да я! Ну, куда ты годишься? Не человек: просто солома!

– Где письмо-то? Захар, Захар! Опять он куда-то дел его! – говорил Обломов.

– Вот письмо старосты, – сказал Алексеев, взяв скомканное письмо.

– Да, вот оно, – повторил Обломов и начал читать вслух.

– Что ты скажешь? Как мне быть! – спросил, прочитав, Илья Ильич. – Засухи, недоимки…

– Пропащий, совсем пропащий человек! – говорил Тарантьев.

– Да отчего ж пропащий?

– Как же не пропащий?

– Ну, если пропащий, так скажи, что делать?

– А что за это?

– Ведь сказано, будет шампанское: чего же еще тебе?

– Шампанское за отыскание квартиры: ведь я тебя облагодетельствовал, а ты не чувствуешь этого, споришь еще; ты неблагодарен! Поди-ка сыщи сам квартиру! Да что квартира? Главное, спокойствие-то какое тебе будет: все равно как у родной сестры. Двое ребятишек, холостой брат, я всякий день буду заходить…

– Ну, хорошо, хорошо, – перебил Обломов, – ты вот теперь скажи, что мне с старостой делать?

– Нет, прибавь портер к обеду, так скажу.

– Вот теперь портер! Мало тебе…

– Ну, так прощай, – сказал Тарантьев, опять надевая шляпу.

– Ах ты, боже мой! Тут староста пишет, что дохода «тысящи две яко помене», а он еще портер набавил! Ну, хорошо, купи портеру.

– Дай еще денег! – сказал Тарантьев.

– Ведь у тебя останется сдача от красненькой.

– А на извозчика на Выборгскую сторону? – отвечал Тарантьев.

Обломов вынул еще целковый и с досадой сунул ему.

– Староста твой мошенник, – вот что я тебе скажу, – начал Тарантьев, пряча целковый в карман, – а ты веришь ему, разиня рот. Видишь, какую песню поет! Засухи, неурожай, недоимки, да мужики ушли. Врет, все врет! Я слышал, что в наших местах, в Шумиловой вотчине, прошлогодним урожаем все долги уплатили, а у тебя вдруг засуха да неурожай. Шумиловское-то в пятидесяти верстах от тебя только: отчего ж там не сожгло хлеба? Выдумал еще недоимки! А он чего смотрел? Зачем запускал? Откуда это недоимки? Работы, что ли, или сбыта в

нашей стороне нет? Ах он, разбойник! Да я бы его выучил! А мужики разошлись оттого, что сам же он, чай, содрал с них что-нибудь, да и распустил, а исправнику и не думал жаловаться.

– Не может быть, – говорил Обломов, – он даже и ответ исправника передает в письме – так натурально…

– Эх, ты! Не знаешь ничего. Да все мошенники натурально пишут – уж это ты мне поверь! Вот, например, – продолжал он, указывая на Алексеева, – сидит честная душа, овца овцой, а напишет ли он натурально? Никогда. А родственник его, даром что свинья и бестия, тот напишет. И ты не напишешь натурально! Стало быть, староста твой уж потому бестия, что ловко и натурально написал. Видишь ведь, как прибрал слово к слову: «Водворить на место жительства».

– Что ж делать-то с ним? – спросил Обломов.

– Смени его сейчас же.

– А кого я назначу? Почем я знаю мужиков? Другой, может быть, хуже будет. Я двенадцать лет не был там.

– Ступай в деревню сам: без этого нельзя; пробудь там лето, а осенью прямо на новую квартиру и приезжай. Я уж похлопочу тут, чтоб она была готова.

– На новую квартиру, в деревню, самому! Какие ты все отчаянные меры предлагаешь! – с неудовольствием сказал Обломов. – Нет чтоб избегнуть крайностей и придержаться средины…

– Ну, брат Илья Ильич, совсем пропадешь ты. Да я бы на твоем месте давным-давно заложил имение да купил бы другое или дом здесь, на хорошем месте: это стоит твоей деревни. А там заложил бы и дом да купил бы другой… Дай-ка мне твое имение, так обо мне услыхали бы в народе-то.

– Перестань хвастаться, а выдумай, как бы и с квартиры не съезжать, и в деревню не ехать, и чтоб дело сделалось… – заметил Обломов.

– Да сдвинешься ли ты когда-нибудь с места? – говорил Тарантьев. – Ведь погляди-ка ты на себя: куда ты годишься? Какая от тебя польза отечеству? Не может в деревню съездить!

– Теперь мне еще рано ехать, – отвечал Илья Ильич, – прежде дай кончить план преобразований, которые я намерен ввести в имение… Да знаешь ли что, Михей Андреич? – вдруг сказал Обломов. – Съезди-ка ты. Дело ты знаешь, места тебе тоже известны; а я бы не пожалел издержек.

– Я управитель, что ли, твой? – надменно возразил Тарантьев. – Да и отвык я с мужиками-то обращаться…

– Что делать? – сказал задумчиво Обломов. – Право, не знаю.

– Ну, напиши к исправнику: спроси его, говорил ли ему староста о шатающихся мужиках, – советовал Тарантьев, – да попроси заехать в деревню; потом к губернатору напиши, чтоб предписал исправнику донести о поведении старосты. «Примите, дескать, ваше превосходительство, отеческое участие и взгляните оком милосердия на неминуемое, угрожающее мне ужаснейшее несчастие, происходящее от буйственных поступков старосты, и крайнее разорение, коему я неминуемо должен подвергнуться, с женой и малолетними, остающимися без всякого призрения и куска хлеба, двенадцатью человеками детей…»

Обломов засмеялся.

– Откуда я наберу столько ребятишек, если попросят показать детей? – сказал он.

– Врешь, пиши: с двенадцатью человеками детей; оно проскользнет мимо ушей, справок наводить не станут, зато будет «натурально»… Губернатор письмо передаст секретарю, а ты напишешь в то же время и ему, разумеется, со вложением, – тот и сделает распоряжение. Да попроси соседей: кто у тебя там?

– Добрынин там близко, – сказал Обломов, – я здесь с ним часто виделся; он там теперь.

– И ему напиши, попроси хорошенько: «Сделаете, дескать, мне этим кровное одолжение и обяжете как христианин, как приятель и как сосед». Да приложи к письму какой-нибудь

петербургский гостинец… сигар, что ли. Вот ты как поступи, а то ничего не смыслишь. Пропащий человек! У меня наплясался бы староста: я бы ему дал! Когда туда почта?

– Послезавтра, – сказал Обломов.

– Так вот садись да и пиши сейчас.

– Ведь послезавтра, так зачем же сейчас? – заметил Обломов. – Можно и завтра. Да послушай-ка, Михей Андреич, – прибавил он, – уж доверши свои «благодеяния»: я, так и быть, еще прибавлю к обеду рыбу или птицу какую-нибудь.

– Что еще? – спросил Тарантьев.

– Присядь да напиши. Долго ли тебе три письма настрочить? Ты так «натурально» рассказываешь… – прибавил он, стараясь скрыть улыбку, – а вон Иван Алексеич переписал бы…

– Э! Какие выдумки! – отвечал Тарантьев. – Чтоб я писать стал! Я и в должности третий день не пишу: как сяду, так слеза из левого глаза и начнет бить; видно, надуло, да и голова затекает, как нагнусь… Лентяй ты, лентяй! Пропадешь, брат, Илья Ильич, ни за копейку!

– Ах, хоть бы Андрей поскорей приехал! – сказал Обломов. – Он бы все уладил…

– Вот нашел благодетеля! – прервал его Тарантьев. – Немец проклятый, шельма продувная!..

Тарантьев питал какое-то инстинктивное отвращение к иностранцам. В глазах его француз, немец, англичанин были синонимы мошенника, обманщика, хитреца или разбойника. Он даже не делал различия между нациями: они были все одинаковы в его глазах.

– Послушай, Михей Андреич, – строго заговорил Обломов, – я тебя просил быть воздержнее на язык, особенно о близком мне человеке…

– О близком человеке! – с ненавистью возразил Тарантьев. – Что он тебе за родня такая? Немец – известно.

– Ближе всякой родни: я вместе с ним рос, учился и не позволю дерзостей…

Тарантьев побагровел от злости.

– А! Если ты меняешь меня на немца, – сказал он, – так я к тебе больше ни ногой.

Он надел шляпу и пошел к двери. Обломов мгновенно смягчился.

– Тебе бы следовало уважать в нем моего приятеля и осторожнее отзываться о нем – вот все, чего я требую! Кажется, невелика услуга, – сказал он.

– Уважать немца? – с величайшим презрением сказал Тарантьев. – За что это?

– Я уж тебе сказал, хоть бы за то, что он вместе со мной рос и учился.

– Велика важность! Мало ли кто с кем учился!

– Вот если бы он был здесь, так он давно бы избавил меня от всяких хлопот, не спросив ни портеру, ни шампанского… – сказал Обломов.

– А! Ты попрекаешь мне! Так черт с тобой и с твоим портером и шампанским! На, вот, возьми свои деньги… Куда, бишь, я их положил? Вот совсем забыл, куда сунул проклятые!

Он вынул какую-то замасленную, исписанную бумажку.

– Нет, не они!.. – говорил он. – Куда это я их?..

Он шарил по карманам.

– Не трудись, не доставай! – сказал Обломов. – Я тебя не упрекаю, а только прошу отзываться приличнее о человеке, который мне близок и который так много сделал для меня…

– Много! – злобно возразил Тарантьев. – Вот постой, он еще больше сделает – ты слушай его!

– К чему ты это говоришь мне? – спросил Обломов.

– А вот к тому, как ужо немец твой облупит тебя, так ты и будешь знать, как менять земляка, русского человека, на бродягу какого-то…

– Послушай, Михей Андреич… – начал Обломов.

– Нечего слушать-то, я слушал много, натерпелся от тебя горя-то! Бог видит, сколько обид перенес… Чай, в Саксонии-то отец его и хлеба-то не видал, а сюда нос поднимать приехал.

– За что ты мертвых тревожишь? Чем виноват отец?

– Виноваты оба, и отец и сын, – мрачно сказал Тарантьев, махнув рукой. – Недаром мой отец советовал беречься этих немцев, а уж он ли не знал всяких людей на своем веку!

– Да чем же не нравится отец, например? – спросил Илья Ильич.

– А тем, что приехал в нашу губернию в одном сюртуке да в башмаках, в сентябре, а тут вдруг сыну наследство оставил – что это значит?

– Оставил он сыну наследства всего тысяч сорок. Кое-что он взял в приданое за женой, а остальные приобрел тем, что учил детей да управлял имением: хорошее жалованье получал. Видишь, что отец не виноват. Чем же теперь виноват сын?

– Хорош мальчик! Вдруг из отцовских сорока сделал тысяч триста капиталу, и в службе за надворного перевалился, и ученый… теперь вон еще путешествует! Пострел везде поспел! Разве настоящий-то хороший русский человек станет все это делать? Русский человек выберет что-нибудь одно, да и то еще не спеша, потихоньку да полегоньку, кое-как, а то на-ко, поди! Добро бы в откупа вступил – ну, понятно, от чего разбогател; а то ничего, так, на фу-фу! Нечисто! Я бы под суд этаких! Вот теперь шатается черт знает где! – продолжал Тарантьев. – Зачем он шатается по чужим землям?

– Учиться хочет, все видеть, знать.

– Учиться! Мало еще учили его? Чему это? Врет он, не верь ему: он тебя в глаза обманывает, как малого ребенка. Разве большие учатся чему-нибудь? Слышите, что рассказывает? Станет надворный советник учиться! Вот ты учился в школе, а разве теперь учишься? А он разве *(он указал на Алексеева)* учится? А родственник его учится? Кто из добрых людей учится? Что он там, в немецкой школе, что ли, сидит да уроки учит? Врет он! Я слышал, он какую-то машину поехал смотреть да заказывать: видно, тиски-то для русских денег! Я бы его в острог… Акции какие-то… Ох, эти мне акции, так душу и мутят.

Обломов расхохотался.

– Что зубы-то скалишь? Не правду, что ли, я говорю? – сказал Тарантьев.

– Ну, оставим это! – прервал его Илья Ильич. – Ты иди с богом, куда хотел, а я вот с Иваном Алексеевичем напишу все эти письма да постараюсь поскорей набросать на бумагу план-то свой: уж кстати заодно делать…

Тарантьев ушел было в переднюю, но вдруг воротился опять.

– Забыл совсем! Шел к тебе за делом с утра, – начал он, уж вовсе не грубо. – Завтра звали меня на свадьбу: Рокотов женится. Дай, земляк, своего фрака надеть; мой-то, видишь ты, пообтерся немного…

– Как же можно! – сказал Обломов, хмурясь при этом новом требовании. – Мой фрак тебе не впору…

– Впору; вот не впору! – перебил Тарантьев. – А помнишь, я примеривал твой сюртук: как на меня сшит! Захар, Захар! Поди-ка сюда, старая скотина! – кричал Тарантьев.

Захар зарычал, как медведь, но не шел.

– Позови его, Илья Ильич. Что это он у тебя какой? – жаловался Тарантьев.

– Захар! – кликнул Обломов.

– О, чтоб вас там! – раздалось в передней вместе с прыжком ног с лежанки.

– Ну, чего вам? – спросил он, обращаясь к Тарантьеву.

– Дай сюда мой черный фрак! – приказывал Илья Ильич. – Вот Михей Андреич примерит, не впору ли ему: завтра ему на свадьбу надо…

– Не дам фрака, – решительно сказал Захар.

– Как ты смеешь, когда барин приказывает? – закричал Тарантьев. – Что ты, Илья Ильич, его в смирительный дом не отправишь?

– Да, вот этого еще недоставало: старика в смирительный дом! – сказал Обломов. – Дай, Захар, фрак, не упрямься!

– Не дам! – холодно отвечал Захар. – Пусть прежде они принесут назад жилет да нашу рубашку: пятый месяц гостит там. Взяли вот этак же на именины, да и поминай как звали; жилет-то бархатный, а рубашка тонкая, голландская: двадцать пять рублев стоит. Не дам фрака!

– Ну, прощайте! Черт с вами пока! – с сердцем заключил Тарантьев, уходя и грозя Захару кулаком. – Смотри же, Илья Ильич, я найму тебе квартиру – слышишь ты? – прибавил он.

– Ну, хорошо, хорошо! – с нетерпением говорил Обломов, чтоб только отвязаться от него.

– А ты напиши тут, что нужно, – продолжал Тарантьев, – да не забудь написать губернатору, что у тебя двенадцать человек детей, «мал мала меньше». А в пять часов чтоб суп был на столе! Да что ты не велел пирога сделать?

Но Обломов молчал; он давно уж не слушал его и, закрыв глаза, думал о чем-то другом.

С уходом Тарантьева в комнате водворилась ненарушимая тишина минут на десять. Обломов был расстроен и письмом старосты и предстоящим переездом на квартиру и отчасти утомлен трескотней Тарантьева. Наконец он вздохнул.

– Что ж вы не пишете? – тихо спросил Алексеев. – Я бы вам перышко очинил.

– Очините, да и бог с вами, подите куда-нибудь! – сказал Обломов. – Я уж один займусь, а вы после обеда перепишете.

– Очень хорошо-с, – отвечал Алексеев. – В самом деле, еще помешаю как-нибудь… А я пойду пока скажу, чтоб нас не ждали в Екатерингоф. Прощайте, Илья Ильич.

Но Илья Ильич не слушал его: он, подобрав ноги под себя, почти улегся в кресло и, подгорюнившись, погрузился не то в дремоту, не то в задумчивость.

V

Обломов, дворянин родом, коллежский секретарь чином, безвыездно живет двенадцатый год в Петербурге.

Сначала, при жизни родителей, жил потеснее, помещался в двух комнатах, довольствовался только вывезенным им из деревни слугой Захаром; но по смерти отца и матери он стал единственным обладателем трехсот пятидесяти душ, доставшихся ему в наследство в одной из отдаленных губерний, чуть не в Азии.

Он вместо пяти получал уже от семи до десяти тысяч рублей ассигнациями дохода; тогда и жизнь его приняла другие, более широкие размеры. Он нанял квартиру побольше, прибавил к своему штату еще повара и завел было пару лошадей.

Тогда еще он был молод, и если нельзя сказать, чтоб он был жив, то, по крайней мере, живее, чем теперь; еще он был полон разных стремлений, все чего-то надеялся, ждал многого и от судьбы, и от самого себя; все готовился к поприщу, к роли – прежде всего, разумеется, в службе, что и было целью его приезда в Петербург. Потом он думал и о роли в обществе; наконец, в отдаленной перспективе, на повороте с юности к зрелым летам, воображению его мелькало и улыбалось семейное счастие.

Но дни шли за днями, годы сменялись годами, пушок обратился в жесткую бороду, лучи глаз сменились двумя тусклыми точками, талия округлилась, волосы стали немилосердно лезть, стукнуло тридцать лет, а он ни на шаг не подвинулся ни на каком поприще и все еще стоял у порога своей арены, там же, где был десять лет назад.

Но он все сбирался и готовился начать жизнь, все рисовал в уме узор своей будущности; но с каждым мелькавшим над головой его годом должен был что-нибудь изменять и отбрасывать в этом узоре.

Жизнь в его глазах разделялась на две половины: одна состояла из труда и скуки – это у него были синонимы; другая – из покоя и мирного веселья. От этого главное поприще – служба на первых порах озадачила его самым неприятным образом.

Воспитанный в недрах провинции, среди кротких и теплых нравов и обычаев родины, переходя в течение двадцати лет из объятий в объятия родных, друзей и знакомых, он до того был проникнут семейным началом, что и будущая служба представлялась ему в виде какого-то семейного занятия, вроде, например, ленивого записыванья в тетрадку прихода и расхода, как делывал его отец.

Он полагал, что чиновники одного места составляли между собою дружную, тесную семью, неусыпно пекущуюся о взаимном спокойствии и удовольствиях, что посещение присутственного места отнюдь не есть обязательная привычка, которой надо придерживаться ежедневно, и что слякоть, жара или просто нерасположение всегда будут служить достаточными и законными предлогами к нехождению в должность.

Но как огорчился он, когда увидел, что надобно быть по крайней мере землетрясению, чтоб не прийти здоровому чиновнику на службу, а землетрясений, как на грех, в Петербурге не бывает; наводнение, конечно, могло бы тоже служить преградой, но и то редко бывает.

Еще более призадумался Обломов, когда замелькали у него в глазах пакеты с надписью *нужное* и *весьма нужное*, когда его заставляли делать разные справки, выписки, рыться в делах, писать тетради в два пальца толщиной, которые, точно на смех, называли записками; притом всё требовали скоро, все куда-то торопились, ни на чем не останавливались: не успеют спустить с рук одно дело, как уж опять с яростью хватаются за другое, как будто в нем вся сила и есть, и, кончив, забудут его и кидаются на третье – и конца этому никогда нет!

Раза два его поднимали ночью и заставляли писать «записки», – несколько раз добывали посредством курьера из гостей – все по поводу этих же записок. Все это навело на него страх и скуку великую. «Когда же жить? Когда жить?» – твердил он.

О начальнике он слыхал у себя дома, что это отец подчиненных, и потому составил себе самое смеющееся, самое семейное понятие об этом лице. Он его представлял себе чем-то вроде второго отца, который только и дышит тем, как бы за дело и не за дело, сплошь да рядом, награждать своих подчиненных и заботиться не только о их нуждах, но и об удовольствиях.

Илья Ильич думал, что начальник до того входит в положение своего подчиненного, что заботливо расспросит его: каково он почивал ночью, отчего у него мутные глаза и не болит ли голова?

Но он жестоко разочаровался в первый же день своей службы. С приездом начальника начиналась беготня, суета, все смущались, все сбивали друг друга с ног, иные обдергивались, опасаясь, что они не довольно хороши как есть, чтоб показаться начальнику.

Это происходило, как заметил Обломов впоследствии, оттого, что есть такие начальники, которые в испуганном до одурения лице подчиненного, выскочившего к ним навстречу, видят не только почтение к себе, но даже ревность, а иногда и способности к службе.

Илье Ильичу не нужно было пугаться так своего начальника, доброго и приятного в обхождении человека: он никогда никому дурного не сделал, подчиненные были как нельзя более довольны и не желали лучшего. Никто никогда не слыхал от него неприятного слова, ни крика, ни шуму; он никогда ничего не требует, а все просит. Дело сделать – просит, в гости к себе – просит и под арест сесть – просит. Он никогда никому не сказал ты; всем вы: и одному чиновнику и всем вместе.

Но все подчиненные чего-то робели в присутствии начальника; они на его ласковый вопрос отвечали не своим, а каким-то другим голосом, каким с прочими не говорили.

И Илья Ильич вдруг робел, сам не зная отчего, когда начальник входил в комнату, и у него стал пропадать свой голос и являлся какой-то другой, тоненький и гадкий, как скоро заговаривал с ним начальник.

Исстрадался Илья Ильич от страха и тоски на службе даже и при добром, снисходительном начальнике. Бог знает, что сталось бы с ним, если б он попался к строгому и взыскательному!

Обломов прослужил кое-как года два; может быть, он дотянул бы и третий, до получения чина, но особенный случай заставил его ранее покинуть службу.

Он отправил однажды какую-то нужную бумагу вместо Астрахани в Архангельск. Дело объяснилось; стали отыскивать виноватого.

Все другие с любопытством ждали, как начальник позовет Обломова, как холодно и покойно спросит, «он ли это отослал бумагу в Архангельск», и все недоумевали, каким голосом ответит ему Илья Ильич.

Некоторые полагали, что он вовсе не ответит: не сможет.

Глядя на других, Илья Ильич и сам перепугался, хотя и он и все прочие знали, что начальник ограничится замечанием; но собственная совесть была гораздо строже выговора.

Обломов не дождался заслуженной кары, ушел домой и прислал медицинское свидетельство.

В этом свидетельстве сказано было: «Я, нижеподписавшийся, свидетельствую, с приложением своей печати, что коллежский секретарь Илья Обломов одержим отолщением сердца с расширением левого желудочка оного (*Hypertrophia cordis cum dilatatione ejus ventriculi sinistri*), а равно хроническою болью в печени (*hepatis*), угрожающею опасным развитием здоровью и жизни больного, каковые припадки происходят, как надо полагать, от ежедневного хождения в должность. Посему, в предотвращение повторения и усиления болезненных припадков, я счи-

таю за нужное прекратить на время г. Обломову хождение на службу и вообще предписываю воздержание от умственного занятия и всякой деятельности».

Но это помогло только на время: надо же было выздороветь, – а за этим в перспективе было опять ежедневное хождение в должность. Обломов не вынес и подал в отставку. Так кончилась – и потом уже не возобновлялась – его государственная деятельность.

Роль в обществе удалась было ему лучше.

В первые годы пребывания в Петербурге, в его ранние, молодые годы, покойные черты лица его оживлялись чаще, глаза подолгу сияли огнем жизни, из них лились лучи света, надежды, силы. Он волновался, как и все, надеялся, радовался пустякам и от пустяков же страдал.

Но это все было давно, еще в ту нежную пору, когда человек во всяком другом человеке предполагает искреннего друга и влюбляется почти во всякую женщину и всякой готов предложить руку и сердце, что иным даже и удается совершить, часто к великому прискорбию потом на всю остальную жизнь.

В эти блаженные дни на долю Ильи Ильича тоже выпало немало мягких, бархатных, даже страстных взглядов из толпы красавиц, пропасть многообещающих улыбок, два-три непривилегированные поцелуя и еще больше дружеских рукопожатий, с болью до слез.

Впрочем, он никогда не отдавался в плен красавицам, никогда не был их рабом, даже очень прилежным поклонником, уже и потому, что к сближению с женщинами ведут большие хлопоты. Обломов больше ограничивался поклонением издали, на почтительном расстоянии.

Редко судьба сталкивала его с женщиною в обществе до такой степени, чтоб он мог вспыхнуть на несколько дней и почесть себя влюбленным. От этого его любовные интриги не разыгрывались в романы: они останавливались в самом начале и своею невинностью, простотой и чистотой не уступали повестям любви какой-нибудь пансионерки на возрасте.

Пуще всего он бегал тех бледных, печальных дев, большею частию с черными глазами, в которых светятся «мучительные дни и неправедные ночи», дев с не ведомыми никому скорбями и радостями, у которых всегда есть что-то вверить, сказать, и когда надо сказать, они вздрагивают, заливаются внезапными слезами, потом вдруг обовьют шею друга руками, долго смотрят в глаза, потом на небо, говорят, что жизнь их обречена проклятию, и иногда падают в обморок. Он с боязнью обходил таких дев. Душа его была еще чиста и девственна; она, может быть, ждала своей любви, своей поры, своей патетической страсти, а потом, с годами, кажется, перестала ждать и отчаялась.

Илья Ильич еще холоднее простился с толпой друзей. Тотчас после первого письма старосты о недоимках и неурожае заменил он первого своего друга, повара, кухаркой, потом продал лошадей и, наконец, отпустил прочих «друзей».

Его почти ничто не влекло из дома, и он с каждым днем все крепче и постояннее водворялся в своей квартире.

Сначала ему тяжело стало пробыть целый день одетым, потом он ленился обедать в гостях, кроме коротко знакомых, больше холостых домов, где можно снять галстук, расстегнуть жилет и где можно даже «поваляться» или соснуть часок.

Вскоре и вечера надоели ему: надо надевать фрак, каждый день бриться.

Вычитал он где-то, что только утренние испарения полезны, а вечерние вредны, и стал бояться сырости.

Несмотря на все эти причуды, другу его, Штольцу, удавалось вытаскивать его в люди; но Штольц часто отлучался из Петербурга в Москву, в Нижний, в Крым, а потом и за границу – и без него Обломов опять ввергался весь по уши в свое одиночество и уединение, из которого могло его вывести только что-нибудь необыкновенное, выходящее из ряда ежедневных явлений жизни; но подобного ничего не было и не предвиделось впереди.

Ко всему этому с летами возвратилась какая-то ребяческая робость, ожидание опасности и зла от всего, что не встречалось в сфере его ежедневного быта, – следствие отвычки от разнообразных внешних явлений.

Его не пугала, например, трещина потолка в его спальне: он к ней привык; не приходило ему тоже в голову, что вечно спертый воздух в комнате и постоянное сидение взаперти чуть ли не губительнее для здоровья, нежели ночная сырость; что переполнять ежедневно желудок есть своего рода постепенное самоубийство; но он к этому привык и не пугался.

Он не привык к движению, к жизни, к многолюдству и суете.

В тесной толпе ему было душно; в лодку он садился с неверною надеждою добраться благополучно до другого берега, в карете ехал, ожидая, что лошади понесут и разобьют.

Не то на него нападал нервический страх: он пугался окружающей его тишины или просто и сам не знал чего – у него побегут мурашки по телу. Он иногда боязливо косится на темный угол, ожидая, что воображение сыграет с ним штуку и покажет сверхъестественное явление.

Так разыгралась роль его в обществе. Лениво махнул он рукой на все юношеские обманувшие его или обманутые им надежды, все нежно-грустные, светлые воспоминания, от которых у иных и под старость бьется сердце.

VI

Что ж он делал дома? Читал? Писал? Учился?

Да: если попадется под руки книга, газета, он ее прочтет.

Услышит о каком-нибудь замечательном произведении – у него явится позыв познакомиться с ним; он ищет, просит книги, и если принесут скоро, он примется за нее, у него начнет формироваться идея о предмете; еще шаг – и он овладел бы им, а посмотришь, он уже лежит, глядя апатически в потолок, и книга лежит подле него недочитанная, непонятая.

Охлаждение овладевало им еще быстрее, нежели увлечение: он уже никогда не возвращался к покинутой книге.

Между тем он учился, как и другие, как все, то есть до пятнадцати лет в пансионе; потом старики Обломовы, после долгой борьбы, решились послать Илюшу в Москву, где он волей-неволей проследил курс наук до конца.

Робкий, апатический характер мешал ему обнаруживать вполне свою лень и капризы в чужих людях, в школе, где не делали исключений в пользу балованных сынков. Он по необходимости сидел в классе прямо, слушал, что говорили учителя, потому что другого ничего делать было нельзя, и с трудом, с потом, со вздохами выучивал задаваемые ему уроки.

Все это вообще считал он за наказание, ниспосланное небом за наши грехи.

Дальше той строки, под которой учитель, задавая урок, проводил ногтем черту, он не заглядывал, расспросов никаких ему не делал и пояснений не требовал. Он довольствовался тем, что написано в тетрадке, и докучливого любопытства не обнаруживал, даже когда и не все понимал, что слушал и учил.

Если ему кое-как удавалось одолеть книгу, называемую статистикой, историей, политической экономией, он совершенно был доволен.

Когда же Штольц приносил ему книги, какие надо еще прочесть сверх выученного, Обломов долго глядел молча на него.

– И ты, Брут, против меня! – говорил он со вздохом, принимаясь за книги.

Неестественно и тяжело ему казалось такое неумеренное чтение.

Зачем же все эти тетрадки, на которые изведешь пропасть бумаги, времени и чернил? Зачем учебные книги? Зачем же, наконец, шесть-семь лет затворничества, все строгости, взыскания, сиденье и томленье над уроками, запрет бегать, шалить, веселиться, когда еще не все кончено?

«Когда же жить? – спрашивал он опять самого себя. – Когда же, наконец, пускать в оборот этот капитал знаний, из которых большая часть еще ни на что не понадобится в жизни? Политическая экономия, например, алгебра, геометрия – что я стану с ними делать в Обломовке?»

И сама история только в тоску повергает: учишь, читаешь, что вот-де настала година бедствий, несчастлив человек; вот собирается с силами, работает, гомозится, страшно терпит и трудится, все готовит ясные дни. Вот настали они – тут бы хоть сама история отдохнула: нет, опять появились тучи, опять здание рухнуло, опять работать, гомозиться… Не остановятся ясные дни, бегут – и все течет жизнь, все течет, все ломка да ломка.

Серьезное чтение утомляло его. Мыслителям не удалось расшевелить в нем жажду к умозрительным истинам.

Зато поэты задели его за живое: он стал юношей, как все. И для него настал счастливый, никому не изменяющий, всем улыбающийся момент жизни, расцветания сил, надежд на бытие, желания блага, доблести, деятельности, эпоха сильного биения сердца, пульса, трепета, восторженных речей и сладких слез. Ум и сердце просветлели: он стряхнул дремоту, душа запросила деятельности.

Штольц помог ему продлить этот момент, сколько возможно было для такой натуры, какова была натура его друга. Он поймал Обломова на поэтах и года полтора держал его под ферулой мысли и науки.

Пользуясь восторженным полетом молодой мечты, он в чтение поэтов вставлял другие цели, кроме наслаждения, строже указывал в дали пути своей и его жизни и увлекал в будущее. Оба волновались, плакали, давали друг другу торжественные обещания идти разумною и светлою дорогою.

Юношеский жар Штольца заражал Обломова, и он сгорал от жажды труда, далекой, но обаятельной цели.

Но цвет жизни распустился и не дал плодов. Обломов отрезвился и только изредка, по указанию Штольца, пожалуй, и прочитывал ту или другую книгу, но не вдруг, не торопясь, без жадности, а лениво пробегал глазами по строкам.

Как ни интересно было место, на котором он останавливался, но если на этом месте заставал его час обеда или сна, он клал книгу переплетом вверх и шел обедать или гасил свечу и ложился спать.

Если давали ему первый том, он по прочтении не просил второго, а приносили – он медленно прочитывал.

Потом уж он не осиливал и первого тома, а большую часть свободного времени проводил, положив локоть на стол, а на локоть голову; иногда вместо локтя употреблял ту книгу, которую Штольц навязывал ему прочесть.

Так совершил свое учебное поприще Обломов. То число, в которое он выслушал последнюю лекцию, и было геркулесовыми столпами его учености. Начальник заведения подписью своею на аттестате, как прежде учитель ногтем на книге, провел черту, за которую герой наш не считал уже нужным простирать свои ученые стремления.

Голова его представляла сложный архив мертвых дел, лиц, эпох, цифр, религий, ничем не связанных политико-экономических, математических или других истин, задач, положений и т. п.

Это была как будто библиотека, состоящая из одних разрозненных томов по разным частям знаний.

Странно подействовало ученье на Илью Ильича: у него между наукой и жизнью лежала целая бездна, которой он не пытался перейти. Жизнь у него была сама по себе, а наука сама по себе.

Он учился всем существующим и давно не существующим правам, прошел курс и практического судопроизводства, а когда, по случаю какой-то покражи в доме, понадобилось написать бумагу в полицию, он взял лист бумаги, перо, думал, думал, да и послал за писарем.

Счеты в деревне сводил староста. «Что ж тут было делать науке?» – рассуждал он в недоумении.

И он воротился в свое уединение без груза знаний, которые бы могли дать направление вольно гуляющей в голове или праздно дремлющей мысли.

Что ж он делал? Да все продолжал чертить узор собственной жизни. В ней он, не без основания, находил столько премудрости и поэзии, что и не исчерпаешь никогда без книг и учености.

Изменив службе и обществу, он начал иначе решать задачу существования, вдумывался в свое назначение и, наконец, открыл, что горизонт его деятельности и житья-бытья кроется в нем самом.

Он понял, что ему досталось в удел семейное счастье и заботы об имении. До тех пор он и не знал порядочно своих дел: за него заботился иногда Штольц. Не ведал он хорошенько ни дохода, ни расхода своего, не составлял никогда бюджета – ничего.

Старик Обломов как принял имение от отца, так передал его и сыну. Он хотя и жил весь век в деревне, но не мудрил, не ломал себе головы над разными затеями, как это делают нынешние: как бы там открыть какие-нибудь новые источники производительности земель или распространять и усиливать старые и т. п. Как и чем засевались поля при дедушке, какие были пути сбыта полевых продуктов тогда, такие остались и при нем.

Впрочем, старик бывал очень доволен, если хороший урожай или возвышенная цена даст дохода больше прошлогоднего: он называл это благословением божиим. Он только не любил выдумок и натяжек к приобретению денег.

– Отцы и деды не глупее нас были, – говорил он в ответ на какие-нибудь вредные, по его мнению, советы, – да прожили же век счастливо; проживем и мы; даст бог, сыты будем.

Получая, без всяких лукавых ухищрений, с имения столько дохода, сколько нужно было ему, чтоб каждый день обедать и ужинать без меры, с семьей и разными гостями, он благодарил Бога и считал грехом стараться приобретать больше.

Если приказчик приносил ему две тысячи, спрятав третью в карман, и со слезами ссылался на град, засухи, неурожай, старик Обломов крестился и тоже со слезами приговаривал: «Воля божья; с Богом спорить не станешь! Надо благодарить Господа и за то, что есть».

Со времени смерти стариков хозяйственные дела в деревне не только не улучшились, но, как видно из письма старосты, становились хуже. Ясно, что Илье Ильичу надо было самому съездить туда и на месте разыскать причину постепенного уменьшения доходов.

Он и сбирался сделать это, но все откладывал, отчасти и потому, что поездка была для него подвигом, почти новым и неизвестным.

Он в жизни совершил только одно путешествие, на долгих, среди перин, ларцов, чемоданов, окороков, булок, всякой жареной и вареной скотины и птицы и в сопровождении нескольких слуг.

Так он совершил единственную поездку из своей деревни до Москвы и эту поездку взял за норму всех вообще путешествий. А теперь, слышал он, так не ездят: надо скакать сломя голову!

Потом Илья Ильич откладывал свою поездку еще и оттого, что не приготовился как следует заняться своими делами.

Он уж был не в отца и не в деда. Он учился, жил в свете: все это наводило его на разные чуждые им соображения. Он понимал, что приобретение не только не грех, но что долг всякого гражданина честными трудами поддерживать общее благосостояние.

От этого большую часть узора жизни, который он чертил в своем уединении, занимал новый, свежий, сообразный с потребностями времени план устройства имения и управления крестьянами.

Основная идея плана, расположение, главные части – все давно готово у него в голове; остались только подробности, сметы и цифры.

Он несколько лет неутомимо работает над планом, думает, размышляет и ходя, и лежа, и в людях; то дополняет, то изменяет разные статьи, то возобновляет в памяти придуманное вчера и забытое ночью; а иногда вдруг, как молния, сверкнет новая, неожиданная мысль и закипит в голове – и пойдет работа.

Он не какой-нибудь мелкий исполнитель чужой, готовой мысли; он сам творец и сам исполнитель своих идей.

Он, как встанет утром с постели, после чая ляжет тотчас на диван, подопрет голову рукой и обдумывает, не щадя сил, до тех пор, пока, наконец, голова утомится от тяжелой работы и когда совесть скажет: довольно сделано сегодня для общего блага.

Тогда только решается он отдохнуть от трудов и переменить заботливую позу на другую, менее деловую и строгую, более удобную для мечтаний и неги.

Освободясь от деловых забот, Обломов любил уходить в себя и жить в созданном им мире.

Ему доступны были наслаждения высоких помыслов; он не чужд был всеобщих человеческих скорбей. Он горько в глубине души плакал в иную пору над бедствиями человечества, испытывал безвестные, безыменные страдания, и тоску, и стремление куда-то вдаль, туда, вероятно, в тот мир, куда увлекал его, бывало, Штольц…

Сладкие слезы потекут по щекам его…

Случается и то, что он исполнится презрения к людскому пороку, ко лжи, к клевете, к разлитому в мире злу и разгорится желанием указать человеку на его язвы, и вдруг загораются в нем мысли, ходят и гуляют в голове, как волны в море, потом вырастают в намерения, зажгут всю кровь в нем, задвигаются мускулы его, напрягутся жилы, намерения преображаются в стремления: он, движимый нравственною силою, в одну минуту быстро изменит две-три позы, с блистающими глазами привстанет до половины на постели, протянет руку и вдохновенно озирается кругом… Вот, вот стремление осуществится, обратится в подвиг… и тогда, господи! Каких чудес, каких благих последствий могли бы ожидать от такого высокого усилия!..

Но, смотришь, промелькнет утро, день уже клонится к вечеру, а с ним клонятся к покою и утомленные силы Обломова: бури и волнения смиряются в душе, голова отрезвляется от дум, кровь медленнее пробирается по жилам. Обломов тихо, задумчиво переворачивается на спину и, устремив печальный взгляд в окно, к небу, с грустью провожает глазами солнце, великолепно садящееся на чей-то четырехэтажный дом.

И сколько, сколько раз он провожал так солнечный закат!

Наутро опять жизнь, опять волнения, мечты! Он любит вообразить себя иногда каким-нибудь непобедимым полководцем, перед которым не только Наполеон, но и Еруслан Лазаревич ничего не значит; выдумает войну и причину ее: у него хлынут, например, народы из Африки в Европу, или устроит он новые крестовые походы и воюет, решает участь народов, разоряет города, щадит, казнит, оказывает подвиги добра и великодушия.

Или изберет он арену мыслителя, великого художника: все поклоняются ему; он пожинает лавры; толпа гоняется за ним, восклицая: «Посмотрите, посмотрите, вот идет Обломов, наш знаменитый Илья Ильич!»

В горькие минуты он страдает от забот, перевертывается с боку на бок, ляжет лицом вниз, иногда даже совсем потеряется; тогда он встанет с постели на колени и начнет молиться жарко, усердно, умоляя небо отвратить как-нибудь угрожающую бурю.

Потом, сдав попечение о своей участи небесам, делается покоен и равнодушен ко всему на свете, а буря там как себе хочет.

Так пускал он в ход свои нравственные силы, так волновался часто по целым дням, и только тогда разве очнется с глубоким вздохом от обаятельной мечты или от мучительной заботы, когда день склонится к вечеру и солнце огромным шаром станет великолепно опускаться за четырехэтажный дом.

Тогда он опять проводит его задумчивым взглядом и печальной улыбкой и мирно опочиет от волнений.

Никто не знал и не видал этой внутренней жизни Ильи Ильича: все думали, что Обломов так себе, только лежит да кушает на здоровье, и что больше от него нечего ждать; что едва ли у него вяжутся и мысли в голове. Так о нем и толковали везде, где его знали.

О способностях его, об этой внутренней волканической работе пылкой головы, гуманного сердца знал подробно и мог свидетельствовать Штольц, но Штольца почти никогда не было в Петербурге.

Один Захар, обращающийся всю жизнь около своего барина, знал еще подробнее весь его внутренний быт; но он был убежден, что они с барином дело делают и живут нормально, как должно, и что иначе жить не следует.

VII

Захару было за пятьдесят лет. Он был уже не прямой потомок тех русских Калебов[10], рыцарей лакейской, без страха и упрека, исполненных преданности к господам до самозабвения, которые отличались всеми добродетелями и не имели никаких пороков.

Этот рыцарь был и со страхом и с упреком. Он принадлежал двум эпохам, и обе положили на него печать свою. От одной перешла к нему по наследству безграничная преданность к дому Обломовых, а от другой, позднейшей, утонченность и развращение нравов.

Страстно преданный барину, он, однако ж, редкий день в чем-нибудь не солжет ему. Слуга старого времени удерживал, бывало, барина от расточительности и невоздержания, а Захар сам любил выпить с приятелями на барский счет; прежний слуга был целомудрен, как евнух, а этот все бегал к куме подозрительного свойства. Тот крепче всякого сундука сбережет барские деньги, а Захар норовит усчитать у барина при какой-нибудь издержке гривенник и непременно присвоит себе лежащую на столе медную гривну или пятак. Точно так же, если Илья Ильич забудет потребовать сдачи от Захара, она уже к нему обратно никогда не поступит.

Важнее сумм он не крал, может быть потому, что потребности свои измерял гривнами и гривенниками или боялся быть замеченным, но, во всяком случае, не от избытка честности.

Старинный Калеб умрет скорее, как отлично выдрессированная охотничья собака, над съестным, которое ему поручат, нежели тронет; а этот так и выглядывает, как бы съесть и выпить и то, чего не поручают; тот заботился только о том, чтоб барин кушал больше, и тосковал, когда он не кушает; а этот тоскует, когда барин съедает дотла все, что ни положит на тарелку.

Сверх того, Захар и сплетник. В кухне, в лавочке, на сходках у ворот он каждый день жалуется, что житья нет, что этакого дурного барина еще и не слыхано: и капризен-то он, и скуп, и сердит, и что не угодишь ему ни в чем, что, словом, лучше умереть, чем жить у него.

Это Захар делал не из злости и не из желания повредить барину, а так, по привычке, доставшейся ему по наследству от деда его и отца – обругать барина при всяком удобном случае.

Он иногда, от скуки, от недостатка материала для разговора или чтоб внушить более интереса слушающей его публике, вдруг распускал про барина какую-нибудь небывальщину.

– Мой-то повадился вон все к той вдове ходить, – хрипел он тихо, по доверенности, – вчера писал записку к ней.

Или объявит, что барин его такой картежник и пьяница, какого свет не производил; что все ночи напролет до утра бьется в карты и пьет горькую.

А ничего не бывало: Илья Ильич ко вдове не ходит, по ночам мирно почивает, карт в руки не берет.

Захар неопрятен. Он бреется редко; и хотя моет руки и лицо, но, кажется, больше делает вид, что моет; да и никаким мылом не отмоешь. Когда он бывает в бане, то руки у него из черных сделаются только часа на два красными, а потом опять черными.

Он очень неловок: станет ли отворять ворота или двери, отворяет одну половинку, другая затворяется, побежит к той, эта затворяется.

Сразу он никогда не подымает с пола платка или другой какой-нибудь вещи, а нагнется всегда раза три, как будто ловит ее, и уж разве в четвертый поднимет, и то еще иногда уронит опять.

---

[10] Калеб – герой романа английского писателя Уильяма Годвина (1756–1836) «Калеб Вильямс» – слуга, поклоняющийся своему господину.

Если он несет чрез комнату кучу посуды или других вещей, то с первого же шага верхние вещи начинают дезертировать на пол. Сначала полетит одна; он вдруг сделает позднее и бесполезное движение, чтоб помешать ей упасть, и уронит еще две. Он глядит, разиня рот от удивления, на падающие вещи, а не на те, которые остаются на руках, и оттого держит поднос косо, а вещи продолжают падать, – и так иногда он принесет на другой конец комнаты одну рюмку или тарелку, а иногда с бранью и проклятиями бросит сам и последнее, что осталось в руках.

Проходя по комнате, он заденет то ногой, то боком за стол, за стул, не всегда попадает прямо в отворенную половину двери, а ударится плечом о другую, и обругает при этом обе половинки, или хозяина дома, или плотника, который их делал.

У Обломова в кабинете переломаны или перебиты почти все вещи, особенно мелкие, требующие осторожного обращения с ними, – и всё по милости Захара. Он свою способность брать в руки вещь прилагает ко всем вещам одинаково, не делая никакого различия в способе обращения с той или другой вещью.

Велят, например, снять со свечи или налить в стакан воды: он употребит на это столько силы, сколько нужно, чтоб отворить ворота.

Не дай бог, когда Захар воспламенится усердием угодить барину и вздумает все убрать, вычистить, установить, живо, разом привести в порядок! Бедам и убыткам не бывает конца: едва ли неприятельский солдат, ворвавшись в дом, нанесет столько вреда. Начиналась ломка, паденье разных вещей, битье посуды, опрокидыванье стульев; кончалось тем, что надо было его выгнать из комнаты, или он сам уходил с бранью и с проклятиями.

К счастью, он очень редко воспламенялся таким усердием.

Все это происходило, конечно, оттого, что он получил воспитание и приобретал манеры не в тесноте и полумраке роскошных, прихотливо убранных кабинетов и будуаров, где черт знает чего ни наставлено, а в деревне, на покое, просторе и вольном воздухе.

Там он привык служить, не стесняя своих движений ничем, около массивных вещей: обращался все больше с здоровыми и солидными инструментами, как то: с лопатой, ломом, железными дверными скобками и такими стульями, которых с места не своротишь.

Иная вещь, подсвечник, лампа, транспарант, пресс-папье, стоит года три, четыре на месте – ничего; чуть он возьмет ее, смотришь – сломалась.

– Ах, – скажет он иногда при этом Обломову с удивлением. – Посмотрите-ка, сударь, какая диковина: взял только в руки вот эту штучку, а она и развалилась!

Или вовсе ничего не скажет, а тайком поставит поскорей опять на свое место и после уверит барина, что это он сам разбил; а иногда оправдывается, как видели в начале рассказа, тем, что и вещь должна же иметь конец, хоть будь она железная, что не век ей жить.

В первых двух случаях еще можно было спорить с ним, но когда он, в крайности, вооружался последним аргументом, то уже всякое противоречие было бесполезно, и он оставался правым без апелляции.

Захар начертал себе однажды навсегда определенный круг деятельности, за который добровольно никогда не переступал.

Он утром ставил самовар, чистил сапоги и то платье, которое барин спрашивал, но отнюдь не то, которое не спрашивал, хоть виси оно десять лет.

Потом он мел – не всякий день, однако ж, – середину комнаты, не добираясь до углов, и обтирал пыль только с того стола, на котором ничего не стояло, чтоб не снимать вещей.

Затем он уже считал себя вправе дремать на лежанке или болтать с Анисьей в кухне и с дворней у ворот, ни о чем не заботясь.

Если ему приказывали сделать что-нибудь сверх этого, он исполнял приказание неохотно, после споров и убеждений в бесполезности приказания или невозможности исполнить его.

Никакими средствами нельзя было заставить его внести новую постоянную статью в круг начертанных им себе занятий.

Если ему велят вычистить, вымыть какую-нибудь вещь или отнести то, принести это, он, по обыкновению, с ворчаньем исполнял приказание; но если б кто захотел, чтоб он потом делал то же самое постоянно сам, то этого уже достигнуть было невозможно.

На другой, на третий день и так далее нужно было бы приказывать то же самое вновь и вновь входить с ним в неприятные объяснения.

Несмотря на все это, то есть что Захар любил выпить, посплетничать, брал у Обломова пятаки и гривны, ломал и бил разные вещи и ленился, все-таки выходило, что он был глубоко преданный своему барину слуга.

Он бы не задумался сгореть или утонуть за него, не считая этого подвигом, достойным удивления или каких-нибудь наград. Он смотрел на это, как на естественное, иначе быть не могущее дело, или, лучше сказать, никак не смотрел, а поступал так, без всяких умозрений.

Теорий у него на этот предмет не было никаких. Ему никогда не приходило в голову подвергать анализу свои чувства и отношения к Илье Ильичу; он не сам выдумал их; они перешли от отца, деда, братьев, дворни, среди которой он родился и воспитался, и обратились в плоть и кровь.

Захар умер бы вместо барина, считая это своим неизбежным и природным долгом, и даже не считая ничем, а просто бросился бы на смерть, точно так же, как собака, которая при встрече с зверем в лесу бросается на него, не рассуждая, отчего должна броситься она, а не ее господин.

Но зато, если б понадобилось, например, просидеть всю ночь подле постели барина, не смыкая глаз, и от этого бы зависело здоровье или даже жизнь барина, Захар непременно бы заснул.

Наружно он не выказывал не только подобострастия к барину, но даже был грубоват, фамильярен в обхождении с ним, сердился на него, не шутя, за всякую мелочь, и даже, как сказано, злословил его у ворот; но все-таки этим только на время заслонялось, а отнюдь не умалялось кровное, родственное чувство преданности его не к Илье Ильичу собственно, а ко всему, что носит имя Обломова, что близко, мило, дорого ему.

Может быть, даже это чувство было в противоречии с собственным взглядом Захара на личность Обломова, может быть, изучение характера барина внушало другие убеждения Захару. Вероятно, Захар, если б ему объяснили о степени привязанности его к Илье Ильичу, стал бы оспаривать это.

Захар любил Обломовку, как кошка свой чердак, лошадь – стойло, собака – конуру, в которой родилась и выросла. В сфере этой привязанности у него выработывались уже свои особенные, личные впечатления.

Например, обломовского кучера он любил больше, нежели повара, скотницу Варвару больше их обоих, а Илью Ильича меньше их всех; но все-таки обломовский повар для него был лучше и выше всех других поваров в мире, а Илья Ильич выше всех помещиков.

Тараску, буфетчика, он терпеть не мог; но этого Тараску он не променял бы на самого хорошего человека в целом свете потому только, что Тараска был обломовский.

Он обращался фамильярно и грубо с Обломовым, точно так же, как шаман грубо и фамильярно обходится с своим идолом: он и обметает его, и уронит, иногда, может быть, и ударит с досадой, но все-таки в душе его постоянно присутствует сознание превосходства натуры этого идола над своей.

Малейшего повода довольно было, чтоб вызвать это чувство из глубины души Захара и заставить его смотреть с благоговением на барина, иногда даже удариться от умиления в слезы. Боже сохрани, чтоб он поставил другого какого-нибудь барина не только выше, даже наравне с своим! Боже сохрани, если б это вздумал сделать и другой!

Захар на всех других господ и гостей, приходивших к Обломову, смотрел несколько свысока и служил им, подавал чай и прочее с каким-то снисхождением, как будто давал им чувствовать честь, которою они пользуются, находясь у его барина. Отказывал им грубовато: «Барин-де почивает», – говорил он, надменно оглядывая пришедшего с ног до головы.

Иногда, вместо сплетней и злословия, он вдруг принимался неумеренно возвышать Илью Ильича по лавочкам и на сходках у ворот, и тогда не было конца восторгам. Он вдруг начинал вычислять достоинства барина, ум, ласковость, щедрость, доброту; и если у барина его недоставало качеств для панегирика, он занимал у других и придавал ему знатность, богатство или необычайное могущество.

Если нужно было пострашать дворника, управляющего домом, даже самого хозяина, он стращал всегда барином: «Вот постой, я скажу барину, – говорил он с угрозой, – будет ужо тебе!» Сильнее авторитета он и не подозревал на свете.

Но наружные сношения Обломова с Захаром были всегда как-то враждебны. Они, живучи вдвоем, надоели друг другу. Короткое, ежедневное сближение человека с человеком не обходится ни тому ни другому даром: много надо и с той и с другой стороны жизненного опыта, логики и сердечной теплоты, чтоб, наслаждаясь только достоинствами, не колоть и не колоться взаимными недостатками.

Илья Ильич знал уже одно необъятное достоинство Захара – преданность к себе, и привык к ней, считая также, с своей стороны, что это не может и не должно быть иначе; привыкши же к достоинству однажды навсегда, он уже не наслаждался им, а между тем не мог, и при своем равнодушии к всему, сносить терпеливо бесчисленных мелких недостатков Захара.

Если Захар, питая в глубине души к барину преданность, свойственную старинным слугам, разнился от них современными недостатками, то и Илья Ильич, с своей стороны, ценя внутренне преданность его, не имел уже к нему того дружеского, почти родственного расположения, какое питали прежние господа к слугам своим. Он позволял себе иногда крупно браниться с Захаром.

Захару он тоже надоедал собой. Захар, отслужив в молодости лакейскую службу в барском доме, был произведен в дядьки к Илье Ильичу и с тех пор начал считать себя только предметом роскоши, аристократическою принадлежностью дома, назначенною для поддержания полноты и блеска старинной фамилии, а не предметом необходимости. От этого он, одев барчонка утром и раздев его вечером, остальное время ровно ничего не делал.

Ленивый от природы, он был ленив еще и по своему лакейскому воспитанию. Он важничал в дворне, не давал себе труда ни поставить самовар, ни подмести полов. Он или дремал в прихожей, или уходил болтать в людскую, в кухню; не то так по целым часам, скрестив руки на груди, стоял у ворот и с сонною задумчивостью посматривал на все стороны.

И после такой жизни на него вдруг навалили тяжелую обузу выносить на плечах службу целого дома! Он и служи барину, и мети, и чисть, он и на побегушках! От всего этого в душу его залегла угрюмость, а в нраве проявилась грубость и жесткость; от этого он ворчал всякий раз, когда голос барина заставлял его покидать лежанку.

Несмотря, однако ж, на эту наружную угрюмость и дикость, Захар был довольно мягкого и доброго сердца. Он любил даже проводить время с ребятишками. На дворе, у ворот, его часто видели с кучей детей. Он их мирит, дразнит, устраивает игры или просто сидит с ними, взяв одного на одно колено, другого на другое, а сзади шею его обовьет еще какой-нибудь шалун руками или треплет его за бакенбарды.

И так Обломов мешал Захару жить тем, что требовал поминутно его услуг и присутствия около себя, тогда как сердце, сообщительный нрав, любовь к бездействию и вечная, никогда не умолкающая потребность жевать влекли Захара то к куме, то в кухню, то в лавочку, то к воротам.

Давно знали они друг друга и давно жили вдвоем. Захар нянчил маленького Обломова на руках, а Обломов помнит его молодым, проворным, прожорливым и лукавым парнем.

Старинная связь была неистребима между ними. Как Илья Ильич не умел ни встать, ни лечь спать, ни быть причесанным и обутым, ни отобедать без помощи Захара, так Захар не умел представить себе другого барина, кроме Ильи Ильича, другого существования, как одевать, кормить его, грубить ему, лукавить, лгать и в то же время внутренне благоговеть перед ним.

VIII

Захар, заперев дверь за Тарантьевым и Алексеевым, когда они ушли, не садился на лежанку, ожидая, что барин сейчас позовет его, потому что слышал, как тот сбирался писать. Но в кабинете Обломова все было тихо, как в могиле.

Захар заглянул в щель – что ж? Илья Ильич лежал себе на диване, опершись головой на ладонь; перед ним лежала книга. Захар отворил дверь.

– Вы чего лежите-то опять? – спросил он.

– Не мешай; видишь, читаю! – отрывисто сказал Обломов.

– Пора умываться да писать, – говорил неотвязчивый Захар.

– Да, в самом деле пора, – очнулся Илья Ильич. – Сейчас: ты поди. Я подумаю.

– И когда это он успел опять лечь-то! – ворчал Захар, прыгая на печку. – Проворен!

Обломов успел, однако ж, прочитать пожелтевшую от времени страницу, на которой чтение прервано было месяц назад. Он положил книгу на место и зевнул, потом погрузился в неотвязчивую думу о «двух несчастиях».

– Какая скука! – шептал он, то вытягивая, то поджимая ноги.

Его клонило к неге и мечтам; он обращал глаза к небу, искал своего любимого светила, но оно было на самом зените и только обливало ослепительным блеском известковую стену дома, за который закатывалось по вечерам в виду Обломова. «Нет, прежде дело, – строго подумал он, – а потом…»

Деревенское утро давно прошло, и петербургское было на исходе. До Ильи Ильича долетал со двора смешанный шум человеческих и нечеловеческих голосов; пенье кочующих артистов, сопровождаемое большею частию лаем собак. Приходили показывать и зверя морского, приносили и предлагали на разные голоса всевозможные продукты.

Он лег на спину и заложил обе руки под голову. Илья Ильич занялся разработкою плана имения. Он быстро пробежал в уме несколько серьезных, коренных статей об оброке, о запашке, придумал новую меру, построже, против лени и бродяжничества крестьян и перешел к устройству собственного житья-бытья в деревне.

Его занимала постройка деревенского дома; он с удовольствием остановился несколько минут на расположении комнат, определил длину и ширину столовой, бильярдной, подумал и о том, куда будет обращен окнами его кабинет; даже вспомнил о мебели и коврах.

После этого расположил флигеля дома, сообразив число гостей, которое намеревался принимать, отвел место для конюшен, сараев, людских и разных других служб.

Наконец обратился к саду: он решил оставить все старые липовые и дубовые деревья так, как они есть, а яблони и груши уничтожить и на место их посадить акации; подумал было о парке, но, сделав в уме примерно смету издержкам, нашел, что дорого, и, отложив это до другого времени, перешел к цветникам и оранжереям.

Тут мелькнула у него соблазнительная мысль о будущих фруктах до того живо, что он вдруг перенесся на несколько лет вперед в деревню, когда уж имение устроено по его плану и когда он живет там безвыездно.

Ему представилось, как он сидит в летний вечер на террасе, за чайным столом, под непроницаемым для солнца навесом деревьев, с длинной трубкой, и лениво втягивает в себя дым, задумчиво наслаждаясь открывающимся из-за деревьев видом, прохладой, тишиной; а вдали желтеют поля, солнце опускается за знакомый березняк и румянит гладкий, как зеркало, пруд; с полей восходит пар; становится прохладно, наступают сумерки, крестьяне толпами идут домой.

Праздная дворня сидит у ворот; там слышатся веселые голоса, хохот, балалайка, девки играют в горелки; кругом его самого резвятся его малютки, лезут к нему на колени, веша-

ются ему на шею; за самоваром сидит… царица всего окружающего, его божество… женщина! жена! А между тем в столовой, убранной с изящной простотой, ярко заблистали приветные огоньки, накрывался большой круглый стол; Захар, произведенный в мажордомы, с совершенно седыми бакенбардами, накрывает стол, с приятным звоном расставляет хрусталь и раскладывает серебро, поминутно роняя на пол то стакан, то вилку; садятся за обильный ужин; тут сидит и товарищ его детства, неизменный друг его, Штольц, и другие, все знакомые лица; потом отходят ко сну…

Лицо Обломова вдруг облилось румянцем счастья: мечта была так ярка, жива, поэтична, что он мгновенно повернулся лицом к подушке. Он вдруг почувствовал смутное желание любви, тихого счастья, вдруг зажаждал полей и холмов своей родины, своего дома, жены и детей…

Полежав ничком минут пять, он медленно опять повернулся на спину. Лицо его сияло кротким, трогательным чувством: он был счастлив.

Он с наслаждением, медленно вытянул ноги, отчего панталоны его засучились немного вверх, но он и не замечал этого маленького беспорядка. Услужливая мечта носила его, легко и вольно, далеко в будущем.

Теперь его поглотила любимая мысль: он думал о маленькой колонии друзей, которые поселятся в деревеньках и фермах, в пятнадцати или двадцати верстах вокруг его деревни, как попеременно будут каждый день съезжаться друг к другу в гости, обедать, ужинать, танцевать; ему видятся всё ясные дни, ясные лица, без забот и морщин, смеющиеся, круглые, с ярким румянцем, с двойным подбородком и неувядающим аппетитом; будет вечное лето, вечное веселье, сладкая еда да сладкая лень…

– Боже, боже! – произнес он от полноты счастья и очнулся.

А тут раздался со двора в пять голосов: «Картофеля! Песку, песку не надо ли! Уголья! Уголья!.. Пожертвуйте, милосердные господа, на построение храма господня!» А из соседнего, вновь строящегося дома раздавался стук топоров, крик рабочих.

– Ах! – горестно вслух вздохнул Илья Ильич. – «Что за жизнь! Какое безобразие этот столичный шум! Когда же настанет райское, желанное житье? Когда в поля, в родные рощи? – думал он. – Лежать бы теперь на траве, под деревом, да глядеть сквозь ветки на солнышко и считать, сколько птичек перебывает на ветках. А тут тебе на траву то обед, то завтрак принесет какая-нибудь краснощекая прислужница, с голыми, круглыми и мягкими локтями и с загорелой шеей; потупляет, плутовка, взгляд и улыбается… Когда же настанет эта пора?..»

«А план! А староста, а квартира?» – вдруг раздалось в памяти его.

– Да! да! – торопливо заговорил Илья Ильич. – Сейчас, сию минуту!

Обломов быстро приподнялся и сел в диване, потом спустил ноги на пол, попал разом в обе туфли и посидел так; потом встал совсем и постоял задумчиво минуты две.

– Захар, Захар! – закричал он громко, поглядывая на стол и на чернильницу.

– Что еще там? – послышалось вместе с прыжком. – Как только ноги-то таскают меня? – хриплым шепотом прибавил Захар.

– Захар! – повторил Илья Ильич задумчиво, не спуская глаз со стола. – Вот что, братец… – начал он, указывая на чернильницу, но, не кончив фразы, впал опять в раздумье.

Тут руки стали у него вытягиваться кверху, колени подгибаться, он начал потягиваться, зевать…

– Там оставался у нас, – заговорил он, все потягиваясь, с расстановкой, – сыр, да… дай мадеры; до обеда долго, так я позавтракаю немного…

– Где это он оставался? – сказал Захар. – Не оставалось ничего.

– Как не оставалось? – перебил Илья Ильич. – Я очень хорошо помню: вот какой кусок был…

– Нет, нету! Никакого куска не было! – упорно твердил Захар.

– Был! – сказал Илья Ильич.

– Не был, – отвечал Захар.

– Ну, так купи.

– Пожалуйте денег.

– Вон мелочь там, возьми.

– Да тут только рубль сорок, а надо рубль шесть гривен.

– Там еще медные были.

– Я не видал! – сказал Захар, переминаясь с ноги на ногу. – Серебро было, вон оно и есть, а медных не было!

– Были: вчера мне разносчик самому в руки дал.

– Он при мне дал, – сказал Захар, – я видел, что мелочь давал, а меди не видал…

«Уж не Тарантьев ли взял? – подумал нерешительно Илья Ильич. – Да нет, тот бы и мелочь взял».

– Так что ж там есть еще? – спросил он.

– А ничего не было. Вон вчерашней ветчины нет ли, надо у Анисьи спросить, – сказал Захар. – Принести, что ли?

– Принеси, что есть. Да как это не было?

– Так, не было! – сказал Захар и ушел. А Илья Ильич медленно и задумчиво прохаживался по кабинету.

– Да, много хлопот, – говорил он тихонько. – Вон хоть бы в плане – пропасть еще работы!.. А сыр-то ведь оставался, – прибавил он задумчиво, – съел этот Захар, да и говорит, что не было! И куда это запропастились медные деньги? – говорил он, шаря на столе рукой.

Через четверть часа Захар отворил дверь подносом, который держал в обеих руках, и, войдя в комнату, хотел ногой притворить дверь, но промахнулся и ударил по пустому месту: рюмка упала, а вместе с ней еще пробка с графина и булка.

– Ни шагу без этого! – сказал Илья Ильич. – Ну, хоть подними же, что уронил; а он еще стоит да любуется!

Захар, с подносом в руках, наклонился было поднять булку, но, присев, вдруг увидел, что обе руки заняты и поднять нечем.

– Ну-ка, подними! – с насмешкой говорил Илья Ильич. – Что ж ты? За чем дело стало?

– О, чтоб вам пусто было, проклятые! – с яростью разразился Захар, обращаясь к уроненным вещам. – Где это видано завтракать перед самым обедом?

И, поставив поднос, он поднял с пола, что уронил: взяв булку, он дунул на нее и положил на стол.

Илья Ильич принялся завтракать, а Захар остановился в некотором отдалении от него, поглядывая на него стороной и намереваясь, по-видимому, что-то сказать.

Но Обломов завтракал, не обращая на него ни малейшего внимания.

Захар кашлянул раза два.

Обломов все ничего.

– Управляющий опять сейчас присылал, – робко заговорил наконец Захар, – подрядчик был у него, говорит: нельзя ли взглянуть на нашу квартиру? Насчет переделки-то всё…

Илья Ильич кушал, не отвечая ни слова.

– Илья Ильич, – помолчав, еще тише сказал Захар.

Илья Ильич сделал вид, что он не слышит.

– На будущей неделе велят съезжать, – просипел Захар.

Обломов выпил рюмку вина и молчал.

– Как же нам быть-то, Илья Ильич? – почти шепотом спросил Захар.

– А я тебе запретил говорить мне об этом, – строго сказал Илья Ильич и, привстав, подошел к Захару.

Тот попятился от него.

– Какой ты ядовитый человек, Захар! – прибавил Обломов с чувством.

Захар обиделся.

– Вот, – сказал он, – ядовитый! Что я за ядовитый? Я никого не убил.

– Как же не ядовитый! – повторил Илья Ильич. – Ты отравляешь мне жизнь.

– Я не ядовитый! – твердил Захар.

– Что ты ко мне пристаешь с квартирой?

– Что ж мне делать-то?

– А мне что делать?

– Вы хотели ведь написать к домовому хозяину?

– Ну и напишу; погоди; нельзя же вдруг!

– Вот бы теперь и написали.

– Теперь, теперь! Еще у меня поважнее есть дело. Ты думаешь, что это дрова рубить? тяп да ляп? Вон, – говорил Обломов, поворачивая сухое перо в чернильнице, – и чернил-то нет! Как я стану писать?

– А я вот сейчас квасом разведу, – сказал Захар и, взяв чернильницу, проворно пошел в переднюю, а Обломов начал искать бумаги.

– Да никак и бумаги-то нет! – говорил он сам с собой, роясь в ящике и ощупывая стол. – Да и так нет! Ах, этот Захар: житья нет от него!

– Ну, как же ты не ядовитый человек? – сказал Илья Ильич вошедшему Захару. – Ни за чем не посмотришь! Как же в доме бумаги не иметь?

– Да что это, Илья Ильич, за наказание! Я христианин: что ж вы ядовитым-то браните? Далось: ядовитый! Мы при старом барине родились и выросли, он и щенком изволил бранить, и за уши драл, а этакого слова не слыхивали, выдумок не было! Долго ли до греха? Вот бумага, извольте.

Он взял с этажерки и подал ему пол-листа серой бумаги.

– На этом разве можно писать? – спросил Обломов, бросив бумагу. – Я этим на ночь стакан закрывал, чтоб туда не попало что-нибудь… ядовитое.

Захар отвернулся и смотрел в стену.

– Ну, да нужды нет: подай сюда, я начерно напишу, а Алексеев ужо перепишет.

Илья Ильич сел к столу и быстро вывел: «Милостивый государь!..»

– Какие скверные чернила! – сказал Обломов. – В другой раз у меня держи ухо востро, Захар, и делай свое дело как следует!

Он подумал немного и начал писать.

«Квартира, которую я занимаю во втором этаже дома, в котором вы предположили произвести некоторые перестройки, вполне соответствует моему образу жизни и приобретенной вследствие долгого пребывания в сем доме привычке. Известясь через крепостного моего человека, Захара Трофимова, что вы приказали сообщить мне, что занимаемая мною квартира…»

Обломов остановился и прочитал написанное.

– Нескладно, – сказал он, – тут два раза сряду *что*, а там два раза *который*.

Он пошептал и переставил слова: вышло, что *который* относится к этажу – опять неловко. Кое-как переправил и начал думать, как бы избежать два раза *что*.

Он то зачеркнет, то опять поставит слово. Раза три переставлял *что*, но выходило или бессмыслица, или соседство с другим *что*.

– И не отвяжешься от этого другого-то *что*! – сказал он с нетерпением. – Э! да черт с ним совсем, с письмом-то! Ломать голову из таких пустяков! Я отвык деловые письма писать. А вот уж третий час в исходе.

– Захар, на вот тебе. – Он разорвал письмо на четыре части и бросил на пол.

– Видел? – спросил он.

– Видел, – отвечал Захар, подбирая бумажки.

– Так не приставай больше с квартирой. А это что у тебя!

– А счеты-то.

– Ах ты, господи! Ты совсем измучишь меня! Ну, сколько тут, говори скорей!

– Да вот мяснику восемьдесят шесть рублей пятьдесят четыре копейки.

Илья Ильич всплеснул руками.

– Ты с ума сошел? Одному мяснику такую кучу денег?

– Не платили месяца три, так и будет куча! Вот оно тут записано, не украли!

– Ну, как же ты не ядовитый? – сказал Обломов. – На мильон говядины купил! Во что это в тебя идет? Добро бы впрок.

– Не я съел! – огрызался Захар.

– Нет! Не ел?

– Что ж вы мне хлебом-то попрекаете? Вот, смотрите!

И он совал ему счеты.

– Ну, еще кому? – говорил Илья Ильич, отталкивая с досадой замасленные тетрадки.

– Еще сто двадцать один рубль восемнадцать копеек хлебнику да зеленщику.

– Это разорение! Это ни на что не похоже! – говорил Обломов, выходя из себя. – Что ты, корова, что ли, чтоб столько зелени сжевать…

– Нет! Я ядовитый человек! – с горечью заметил Захар, повернувшись совсем стороной к барину. – Кабы не пускали Михея Андреича, так бы меньше выходило! – прибавил он.

– Ну, сколько ж это будет всего, считай! – говорил Илья Ильич и сам начал считать.

Захар делал ту же выкладку по пальцам.

– Черт знает, что за вздор выходит: всякий раз разное! – сказал Обломов. – Ну, сколько у тебя? двести, что ли?

– Вот погодите, дайте срок! – говорил Захар, зажмуриваясь и ворча. – Восемь десятков да десять десятков – восемнадцать, да два десятка…

– Ну, ты никогда этак не кончишь, – сказал Илья Ильич, – поди-ка к себе, а счеты подай мне завтра, да позаботься о бумаге и чернилах… Этакая куча денег! Говорил, чтоб понемножку платить, – нет, норовит все вдруг… народец!

– Двести пять рублей семьдесят две копейки, – сказал Захар, сосчитав. – Денег пожалуйте.

– Как же, сейчас! Еще погоди: я поверю завтра…

– Воля ваша, Илья Ильич, они просят…

– Ну, ну, отстань! Сказал – завтра, так завтра и получишь. Иди к себе, а я займусь: у меня поважнее есть забота.

Илья Ильич уселся на стуле, подобрал под себя ноги и не успел задуматься, как раздался звонок.

Явился низенький человек, с умеренным брюшком, с белым лицом, румяными щеками и лысиной, которую с затылка, как бахрома, окружали черные густые волосы. Лысина была кругла, чиста и так лоснилась, как будто была выточена из слоновой кости. Лицо гостя отличалось заботливо-внимательным ко всему, на что он ни глядел, выражением, сдержанностью во взгляде, умеренностью в улыбке и скромно-официальным приличием.

Одет он был в покойный фрак, отворявшийся широко и удобно, как ворота, почти от одного прикосновения. Белье на нем так и блистало белизною, как будто под стать лысине. На указательном пальце правой руки надет был большой массивный перстень с каким-то темным камнем.

– Доктор! Какими судьбами? – воскликнул Обломов, протягивая одну руку гостю, а другою подвигая стул.

– Я соскучился, что вы всё здоровы, не зовете, сам зашел, – отвечал доктор шутливо. – Нет, – прибавил он потом серьезно, – я был вверху, у вашего соседа, да и зашел проведать.

– Благодарю. А что сосед?

– Что: недели три-четыре, а может быть, до осени дотянет, а потом… водяная в груди: конец известный. Ну, вы что?

Обломов печально тряхнул головой.

– Плохо, доктор. Я сам подумывал посоветоваться с вами. Не знаю, что мне делать. Желудок почти не варит, под ложечкой тяжесть, изжога замучила, дыханье тяжело… – говорил Обломов с жалкой миной.

– Дайте руку, – сказал доктор, взял пульс и закрыл на минуту глаза. – А кашель есть? – спросил он.

– По ночам, особенно когда поужинаю.

– Гм! Биение сердца бывает? Голова болит?

И доктор сделал еще несколько подобных вопросов, потом наклонил свою лысину и глубоко задумался. Через две минуты он вдруг приподнял голову и решительным голосом сказал:

– Если вы еще года два-три проживете в этом климате да будете все лежать, есть жирное и тяжелое – вы умрете ударом.

Обломов встрепенулся.

– Что ж мне делать? Научите, ради бога! – спросил он.

– То же, что другие делают: ехать за границу!

– За границу! – с изумлением повторил Обломов.

– Да; а что?

– Помилуйте, доктор, за границу? Как это можно?

– Отчего же не можно?

Обломов молча обвел глазами себя, потом свой кабинет и машинально повторил:

– За границу!

– Что ж вам мешает?

– Как что? Все…

– Что ж все? Денег, что ли, нет?

– Да, да, вот денег-то в самом деле нет, – живо заговорил Обломов, обрадовавшись этому самому естественному препятствию, за которое он мог спрятаться совсем с головой. – Вы посмотрите-ка, что мне староста пишет… Где письмо, куда я его девал? Захар!

– Хорошо, хорошо, – заговорил доктор, – это не мое дело; мой долг сказать вам, что вы должны изменить образ жизни, место, воздух, занятие – все, все.

– Хорошо, я подумаю, – сказал Обломов. – Куда же мне ехать и что делать? – спросил он.

– Поезжайте в Киссинген или в Эмс, – начал доктор, – там проживете июнь и июль; пейте воды; потом отправляйтесь в Швейцарию или в Тироль: лечиться виноградом. Там проживете сентябрь и октябрь…

– Черт знает что, в Тироль! – едва слышно прошептал Илья Ильич.

– Потом куда-нибудь в сухое место, хоть в Египет…

«Вона!» – подумал Обломов.

– Устраняйте заботы и огорчения…

– Хорошо вам говорить, – заметил Обломов, – вы не получаете от старосты таких писем…

– Надо тоже избегать мыслей, – продолжал доктор.

– Мыслей?

– Да, умственного напряжения.

– А план устройства имения? Помилуйте, разве я осиновый чурбан?..

– Ну, там как хотите. Мое дело только остеречь вас. Страстей тоже надо беречься: они вредят леченью. Надо стараться развлекать себя верховой ездой, танцами, умеренными дви-

жениями на чистом воздухе, приятными разговорами, особенно с дамами, чтоб сердце билось слегка и только от приятных ощущений.

Обломов слушал его, повеся голову.

– Потом? – спросил он.

– Потом от чтения, писанья – боже вас сохрани! Наймите виллу, окнами на юг, побольше цветов, чтоб около были музыка да женщины…

– А пищу какую?

– Пищи мясной и вообще животной избегайте, мучнистой и студенистой тоже. Можете кушать легкий бульон, зелень; только берегитесь: теперь холера почти везде бродит, так надо осторожнее… Ходить можете часов восемь в сутки. Заведите ружье…

– Господи!.. – простонал Обломов.

– Наконец, – заключил доктор, – к зиме поезжайте в Париж и там, в вихре жизни, развлекайтесь, не задумывайтесь: из театра на бал, в маскарад, за город, с визитами, чтоб около вас друзья, шум, смех…

– Не нужно ли еще чего-нибудь? – спросил Обломов с худо скрытой досадой.

Доктор задумался…

– Разве попользоваться морским воздухом: сядьте в Англии на пароход да прокатитесь до Америки…

Он встал и стал прощаться.

– Если вы все это исполните в точности… – говорил он.

– Хорошо, хорошо, непременно исполню, – едко отвечал Обломов, провожая его.

Доктор ушел, оставив Обломова в самом жалком положении. Он закрыл глаза, положил обе руки на голову, сжался на стуле в комок и так сидел, никуда не глядя, ничего не чувствуя.

Сзади его послышался робкий зов.

– Илья Ильич!

– Ну? – откликнулся он.

– А что ж управляющему-то сказать?

– О чем?

– А насчет того, чтоб переехать?

– Ты опять об этом? – с изумлением спросил Обломов.

– Да как же, батюшка, Илья Ильич, быть-то мне? Сами рассудите: и так жизнь-то моя горька, я в гроб гляжу…

– Нет, ты, видно, в гроб меня хочешь вогнать своим переездом, – сказал Обломов. – Послушай-ка, что говорит доктор!

Захар не нашел, что сказать, только вздохнул так, что концы шейного платка затрепетали у него на груди.

– Ты решился уморить, что ли, меня? – спросил опять Обломов. – Я надоел тебе – а? Ну, говори же!

– Христос с вами! Живите на здоровье! Кто вам зла желает? – ворчал Захар в совершенном смущении от трагического оборота, который начинала принимать речь.

– Ты! – сказал Илья Ильич. – Я запретил тебе заикаться о переезде, а ты не проходит дня, чтоб пять раз не напомнил мне: ведь это расстраивает меня – пойми ты. И так здоровье мое никуда не годится.

– Я думал, сударь, что… отчего, мол, думал, не переехать? – дрожащим от душевной тревоги голосом говорил Захар.

– Отчего не переехать! Ты так легко судишь об этом! – говорил Обломов, оборачиваясь с креслами к Захару. – Да ты вникнул ли хорошенько, что значит переехать – а? Верно, не вникнул?

– И так не вникнул! – смиренно отвечал Захар, готовый во всем согласиться с барином, лишь бы не доводить дела до патетических сцен, которые были для него хуже горькой редьки.

– Не вникнул, так слушай, да и разбери, можно переезжать или нет. Что значит переехать? Это значит: барин уйди на целый день да так одетый с утра и ходи…

– Что ж, хоть бы и уйти? – заметил Захар. – Отчего же и не отлучиться на целый день? Ведь нездорово сидеть дома. Вон вы какие нехорошие стали! Прежде вы были как огурчик, а теперь, как сидите, бог знает на что похожи. Походили бы по улицам, посмотрели бы на народ или на другое что…

– Полно вздор молоть, а слушай! – сказал Обломов. – Ходить по улицам!

– Да, право, – продолжал Захар с большим жаром. – Вон, говорят, какое-то неслыханное чудовище привезли: его бы поглядели. В тиатр или маскарад бы пошли, а тут бы без вас и переехали.

– Не болтай пустяков! Славно ты заботишься о барском покое! По-твоему, шатайся целый день – тебе нужды нет, что я пообедаю невесть где и как и не прилягу после обеда?.. Без меня они тут перевезут! Недогляди, так и перевезут – черепки. Знаю я, – с возрастающей убедительностью говорил Обломов, – что значит перевозка! Это значит ломка, шум; все вещи свалят в кучу на полу: тут и чемодан, и спинка дивана, и картины, и чубуки, и книги, и склянки какие-то, которых в другое время и не видать, а тут черт знает откуда возьмутся! Смотри за всем, чтоб не растеряли да не переломали… половина тут, другая на возу или на новой квартире: захочется покурить, возьмешь трубку, а табак уж уехал… Хочешь сесть, да не на что; до чего ни дотронулся – выпачкался, все в пыли; вымыться нечем, и ходи вон с этакими руками, как у тебя…

– У меня руки чисты, – заметил Захар, показывая какие-то две подошвы вместо рук.

– Ну, уж не показывай только! – сказал Илья Ильич, отворачиваясь. – А захочется пить, – продолжал Обломов, – взял графин, да стакана нет…

– Можно и из графина напиться! – добродушно прибавил Захар.

– Вот у вас все так: можно и не мести, и пыли не стирать, и ковров не выколачивать. А на новой квартире, – продолжал Илья Ильич, увлекаясь сам живо представившейся ему картиной переезда, – дня в три не разберутся, всё не на своем месте: картины у стен, на полу, галоши на постели, сапоги в одном узле с чаем да с помадой. То, глядишь, ножка у кресла сломана, то стекло на картине разбито или диван в пятнах. Чего ни спросишь, – нет, никто не знает – где, или потеряно, или забыто на старой квартире: беги туда…

– В ину пору раз десять взад и вперед сбегаешь, – перебил Захар.

– Вот видишь ли! – продолжал Обломов. – А встанешь на новой квартире утром, что за скука! Ни воды, ни угольев нет, а зимой так холодом насидишься, настудят комнаты, а дров нет; поди бегай, занимай…

– Еще каких соседей бог даст, – заметил опять Захар, – от иных не то что вязанки дров – ковша воды не допросишься.

– То-то же! – сказал Илья Ильич. – Переехал – к вечеру, кажется бы, и конец хлопотам: нет, еще провозишься недели две. Кажется, все расставлено… смотришь, что-нибудь да осталось; шторы привесить, картинки приколотить – душу всю вытянет, жить не захочется… А издержек, издержек…

– Прошлый раз, восемь лет назад, рублев двести стало – как теперь помню, – подтвердил Захар.

– Ну вот, шутка! – говорил Илья Ильич. – А как дико жить сначала на новой квартире! Скоро ли привыкнешь? Да я ночей пять не усну на новом месте; меня тоска загрызет, как встану да увижу вон вместо этой вывески токаря другое что-нибудь, напротив, или вон ежели из окна не выглянет эта стриженая старуха перед обедом, так мне и скучно… Видишь ли ты там теперь, до чего доводил барина – а? – спросил с упреком Илья Ильич.

– Вижу, – прошептал смиренно Захар.

– Зачем же ты предлагал мне переехать? Станет ли человеческих сил вынести все это?

– Я думал, что другие, мол, не хуже нас, да переезжают, так и нам можно… – сказал Захар.

– Что? Что? – вдруг с изумлением спросил Илья Ильич, приподнимаясь с кресел. – Что ты сказал?

Захар вдруг смутился, не зная, чем он мог подать барину повод к патетическому восклицанию и жесту. Он молчал.

– Другие не хуже! – с ужасом повторил Илья Ильич. – Вот ты до чего договорился! Я теперь буду знать, что я для тебя все равно что «другой»!

Обломов поклонился иронически Захару и сделал в высшей степени оскорбленное лицо.

– Помилуйте, Илья Ильич, разве я равняю вас с кем-нибудь?..

– С глаз долой! – повелительно сказал Обломов, указывая рукой на дверь. – Я тебя видеть не могу. А! «другие»! Хорошо!

Захар с глубоким вздохом удалился к себе.

– Эка жизнь, подумаешь! – ворчал он, садясь на лежанку.

– Боже мой! – стонал тоже Обломов. – Вот хотел посвятить утро дельному труду, а тут расстроили на целый день! И кто же? свой собственный слуга, преданный, испытанный, а что сказал! И как это он мог?

Обломов долго не мог успокоиться; он ложился, вставал, ходил по комнате и опять ложился. Он в низведении себя Захаром до степени *других* видел нарушение прав своих на исключительное предпочтение Захаром особы барина всем и каждому.

Он вникал в глубину этого сравнения и разбирал, что такое *другие* и что он сам, в какой степени возможна и справедлива эта параллель и как тяжела обида, нанесенная ему Захаром; наконец, сознательно ли оскорбил его Захар, то есть убежден ли он был, что Илья Ильич все равно, что «другой», или так это сорвалось у него с языка, без участия головы. Все это задело самолюбие Обломова, и он решился показать Захару разницу между ним и теми, которых разумел Захар под именем «других», и дать почувствовать ему всю гнусность его поступка.

– Захар! – протяжно и торжественно кликнул он.

Захар, услышав этот зов, не прыгнул по обыкновению с лежанки, стуча ногами, не заворчал; он медленно сполз с печки и пошел, задевая за все и руками и боками, тихо, нехотя, как собака, которая по голосу господина чувствует, что проказа ее открыта и что зовут ее на расправу.

Захар отворил вполовину дверь, но войти не решался.

– Войди! – сказал Илья Ильич.

Хотя дверь отворялась свободно, но Захар отворял так, как будто нельзя было пролезть, и оттого только завяз в двери, но не вошел.

Обломов сидел на краю постели.

– Поди сюда! – настойчиво сказал он.

Захар с трудом высвободился из двери, но тотчас притворил ее за собой и прислонился к ней плотно спиной.

– Сюда! – говорил Илья Ильич, указывая пальцем место подле себя. Захар сделал полшага и остановился за две сажени от указанного места.

– Еще! – говорил Обломов.

Захар сделал вид, что будто шагнул, а сам только качнулся, стукнул ногой и остался на месте.

Илья Ильич, видя, что ему никак не удается на этот раз подманить Захара ближе, оставил его там, где он стоял, и смотрел на него несколько времени молча, с укоризной.

Захар, чувствуя неловкость от этого безмолвного созерцания его особы, делал вид, что не замечает барина, и более, нежели когда-нибудь, стороной стоял к нему и даже не кидал в эту минуту своего одностороннего взгляда на Илью Ильича.

Он упорно стал смотреть налево, в другую сторону: там увидал он давно знакомый ему предмет – бахрому из паутины около картин, и в пауке – живой упрек своему нерадению.

– Захар! – тихо, с достоинством произнес Илья Ильич.

Захар не отвечал: он, кажется, думал: «Ну, чего тебе? Другого, что ли, Захара? Ведь я тут стою», и перенес взгляд свой мимо барина, слева направо; там тоже напомнило ему о нем самом зеркало, подернутое, как кисеей, густою пылью: сквозь нее дико, исподлобья смотрел на него, как из тумана, собственный его же угрюмый и некрасивый лик.

Он с неудовольствием отвратил взгляд от этого грустного, слишком знакомого ему предмета и решился на минуту остановить его на Илье Ильиче. Взгляды их встретились.

Захар не вынес укора, написанного в глазах барина, и потупил свои вниз, под ноги: тут опять, в ковре, пропитанном пылью и пятнами, он прочел печальный аттестат своего усердия к господской службе.

– Захар! – с чувством повторил Илья Ильич.

– Чего изволите? – едва слышно прошептал Захар и чуть-чуть вздрогнул, предчувствуя патетическую речь.

– Дай мне квасу! – сказал Илья Ильич.

У Захара отлегло от сердца; он с радости, как мальчишка, проворно бросился в буфет и принес квасу.

– Что, каково тебе? – кротко спросил Илья Ильич, отпив из стакана и держа его в руках. – Ведь нехорошо?

Вид дикости на лице Захара мгновенно смягчился блеснувшим в чертах его лучом раскаяния. Захар почувствовал первые признаки проснувшегося в груди и подступившего к сердцу благоговейного чувства к барину, и он вдруг стал смотреть прямо ему в глаза.

– Чувствуешь ли ты свой проступок? – спросил Илья Ильич.

«Что это за „проступок“ за такой? – думал Захар с горестью. – Что-нибудь жалкое; ведь нехотя заплачешь, как он станет этак-то пропекать».

– Что ж, Илья Ильич, – начал Захар с самой низкой ноты своего диапазона, – я ничего не сказал, окроме того, что, мол…

– Нет, ты погоди! – перебил Обломов. – Ты понимаешь ли, что ты сделал? На вот, поставь стакан на стол и отвечай!

Захар ничего не отвечал и решительно не понимал, что он сделал, но это не помешало ему с благоговением посмотреть на барина; он даже понурил немного голову, сознавая свою вину.

– Как же ты не ядовитый человек? – говорил Обломов.

Захар все молчал, только крупно мигнул раза три.

– Ты огорчил барина! – с расстановкой произнес Илья Ильич и пристально смотрел на Захара, наслаждаясь его смущением.

Захар не знал, куда деваться от тоски.

– Ведь огорчил? – спросил Илья Ильич.

– Огорчил! – шептал, растерявшись совсем, Захар от этого нового *жалкого* слова. Он метал взгляды направо, налево и прямо, ища в чем-нибудь спасения, и опять замелькали перед ним и паутина, и пыль, и собственное отражение, и лицо барина.

«Хоть бы сквозь землю провалиться! Эх, смерть нейдет!» – подумал он, видя, что не избежать ему патетической сцены, как ни вертись. И так он чувствовал, что мигает чаще и чаще, и вот, того и гляди, брызнут слезы.

Наконец он отвечал барину известной песней, только в прозе.

– Чем же я огорчил вас, Илья Ильич? – почти плача сказал он.

– Чем? – повторил Обломов. – Да ты подумал ли, что такое *другой*?

Он остановился, продолжая глядеть на Захара.

– Сказать ли тебе, что это такое?

Захар повернулся, как медведь в берлоге, и вздохнул на всю комнату.

– Другой – кого ты разумеешь – есть голь окаянная, грубый, необразованный человек, живет грязно, бедно, на чердаке; он и выспится себе на войлоке где-нибудь на дворе. Что этакому сделается? Ничего. Трескает-то он картофель да селедку. Нужда мечет его из угла в угол, он и бегает день-деньской. Он, пожалуй, и переедет на новую квартиру. Вон, Лягаев, возьмет линейку под мышку да две рубашки в носовой платок и идет… «Куда, мол, ты?» – «Переезжаю», – говорит. Вот это так «другой»! А я, по-твоему, «другой» – а?

Захар взглянул на барина, переступил с ноги на ногу и молчал.

– Что такое другой? – продолжал Обломов. – Другой есть такой человек, который сам себе сапоги чистит, одевается сам, хоть иногда и барином смотрит, да врет, он и не знает, что такое прислуга; послать некого – сам сбегает за чем нужно; и дрова в печке сам помешает, иногда и пыль оботрет…

– Из немцев много этаких, – угрюмо сказал Захар.

– То-то же! А я? Как ты думаешь, я «другой»?

– Вы совсем другой! – жалобно сказал Захар, все не понимавший, что хочет сказать барин. – Бог знает, что это напустило такое на вас…

– Я совсем другой – а? Погоди, ты посмотри, что ты говоришь! Ты разбери-ка, как «другой»-то живет? «Другой» работает без устали, бегает, суетится, – продолжал Обломов, – не поработает, так и не поест. «Другой» кланяется, «другой» просит, унижается… А я? Ну-ка, реши: как ты думаешь, «другой» я – а?

– Да полно вам, батюшка, томить-то меня жалкими словами! – умолял Захар. – Ах ты, господи!

– Я «другой»! Да разве я мечусь, разве работаю? Мало ем, что ли? Худощав или жалок на вид? Разве недостает мне чего-нибудь? Кажется, подать, сделать – есть кому! Я ни разу не натянул себе чулок на ноги, как живу, слава Богу! Стану ли я беспокоиться? Из чего мне? И кому я это говорю? Не ты ли с детства ходил за мной? Ты все это знаешь, видел, что я воспитан нежно, что я ни холода, ни голода никогда не терпел, нужды не знал, хлеба себе не зарабатывал и вообще черным делом не занимался. Так как же это у тебя достало духу равнять меня с другими? Разве у меня такое здоровье, как у этих «других»? Разве я могу все это делать и перенести?

Захар потерял решительно всякую способность понять речь Обломова; но губы у него вздулись от внутреннего волнения; патетическая сцена гремела, как туча, над головой его. Он молчал.

– Захар! – повторил Илья Ильич.

– Чего изволите? – чуть слышно прошипел Захар.

– Дай еще квасу.

Захар принес квасу, и когда Илья Ильич, напившись, отдал ему стакан, он было проворно пошел к себе.

– Нет, нет, ты постой! – заговорил Обломов. – Я спрашиваю тебя: как ты мог так горько оскорбить барина, которого ты ребенком носил на руках, которому век служишь и который благодетельствует тебе?

Захар не выдержал: слово *благодетельствует* доконало его! Он начал мигать чаще и чаще. Чем меньше понимал он, что говорил ему в патетической речи Илья Ильич, тем грустнее становилось ему.

– Виноват, Илья Ильич, – начал он сипеть с раскаянием, – это я по глупости, право, по глупости…

И Захар, не понимая, что он сделал, не знал, какой глагол употребить в конце своей речи.

– А я, – продолжал Обломов голосом оскорбленного и не оцененного по достоинству человека, – еще забочусь день и ночь, тружусь, иногда голова горит, сердце замирает, по ночам не спишь, ворочаешься, все думаешь, как бы лучше… а о ком? Для кого? Все для вас, для крестьян; стало быть, и для тебя. Ты, может быть, думаешь, глядя, как я иногда покроюсь совсем одеялом с головой, что я лежу как пень да сплю; нет, не сплю я, а думаю все крепкую думу, чтоб крестьяне не потерпели ни в чем нужды, чтоб не позавидовали чужим, чтоб не плакались на меня Господу Богу на Страшном суде, а молились бы да поминали меня добром. Неблагодарные! – с горьким упреком заключил Обломов.

Захар тронулся окончательно последними жалкими словами. Он начал понемногу всхлипывать; сипенье и хрипенье слились в этот раз в одну, невозможную ни для какого инструмента ноту, разве только для какого-нибудь китайского гонга или индийского тамтама.

– Батюшка, Илья Ильич! – умолял он. – Полно вам! Что вы, Господь с вами, такое несете! Ах ты, Мать Пресвятая Богородица! Какая беда вдруг стряслась нежданно-негаданно…

– А ты, – продолжал, не слушая его, Обломов, – ты бы постыдился выговорить-то! Вот какую змею отогрел на груди!

– Змея! – произнес Захар, всплеснув руками, и так приударил плачем, как будто десятка два жуков влетели и зажужжали в комнате. – Когда же я змею поминал? – говорил он среди рыданий. – Да я и во сне-то не вижу ее, поганую!

Оба они перестали понимать друг друга, а наконец каждый и себя.

– Да как это язык поворотился у тебя? – продолжал Илья Ильич. – А я еще в плане моем определил ему особый дом, огород, отсыпной хлеб, назначил жалованье! Ты у меня и управляющий, и мажордом, и поверенный по делам! Мужики тебе в пояс; все тебе: Захар Трофимыч да Захар Трофимыч! А он все еще недоволен, в «другие» пожаловал! Вот и награда! Славно барина честит!

Захар продолжал всхлипывать, и Илья Ильич был сам растроган. Увещевая Захара, он глубоко проникся в эту минуту сознанием благодеяний, оказанных им крестьянам, и последние упреки досказал дрожащим голосом, со слезами на глазах.

– Ну, теперь иди с богом! – сказал он примирительным тоном Захару. – Да постой, дай еще квасу! В горле совсем пересохло: сам бы догадался – слышишь, барин хрипит? До чего довел!

– Надеюсь, что ты понял свой проступок, – говорил Илья Ильич, когда Захар принес квасу, – и вперед не станешь сравнивать барина с другими. Чтоб загладить свою вину, ты как-нибудь уладь с хозяином, чтоб мне не переезжать. Вот как ты бережешь покой барина: расстроил совсем и лишил меня какой-нибудь новой, полезной мысли. А у кого отнял? У себя же; для вас я посвятил всего себя, для вас вышел в отставку, сижу взаперти… Ну, да бог с тобой! Вон, три часа бьет! Два часа только до обеда, что успеешь сделать в два часа? Ничего. А дела куча. Так и быть, письмо отложу до следующей почты, а план набросаю завтра. Ну, а теперь прилягу немного: измучился совсем; ты опусти шторы да затвори меня поплотнее, чтоб не мешали; может быть, я с часик и усну; а в половине пятого разбуди.

Захар начал закупоривать барина в кабинете; он сначала покрыл его самого и подоткнул одеяло под него, потом опустил шторы, плотно запер все двери и ушел к себе.

– Чтоб тебе издохнуть, леший этакой! – ворчал он, отирая следы слез и влезая на лежанку. – Право, леший! Особый дом, огород, жалованье! – говорил Захар, понявший только последние слова. – Мастер жалкие-то слова говорить: так по сердцу точно ножом и режет… Вот тут мой и дом, и огород, тут и ноги протяну! – говорил он, с яростью ударяя по лежанке. – Жалованье! Как не приберешь гривен да пятаков к рукам, так и табаку не на что купить, и куму нечем попотчевать! Чтоб тебе пусто было!.. Подумаешь, смерть-то нейдет!

Илья Ильич лег на спину, но не вдруг заснул. Он думал, думал, волновался, волновался…

– Два несчастья вдруг! – говорил он, завертываясь в одеяло совсем с головой. – Прошу устоять!

Но на самом-то деле эти два несчастья, то есть зловещее письмо старосты и переезд на новую квартиру, перестали тревожить Обломова и поступали уже только в ряд беспокойных воспоминаний.

«До бед, которыми грозит староста, еще далеко, – думал он, – до тех пор многое может перемениться: авось дожди поправят хлеб; может быть, недоимки староста пополнит; бежавших мужиков „водворят на место жительства“, как он пишет».

«И куда это они ушли, эти мужики? – думал он и углубился более в художественное рассмотрение этого обстоятельства. – Поди, чай, ночью ушли, по сырости, без хлеба. Где же они уснут? Неужели в лесу? Ведь не сидится же! В избе хоть и скверно пахнет, да тепло, по крайней мере…»

«И что тревожиться? – думал он. – Скоро и план подоспеет – чего ж пугаться заранее? Эх, я…»

Мысль о переезде тревожила его несколько более. Это было свежее, позднейшее *несчастье*; но в успокоительном духе Обломова и для этого факта наступала уже история. Хотя он смутно и предвидел неизбежность переезда, тем более, что тут вмешался Тарантьев, но он мысленно отдалял это тревожное событие своей жизни хоть на неделю, и вот уже выиграна целая неделя спокойствия!

«А *может быть*, еще Захар постарается так уладить, что и вовсе не нужно будет переезжать, *авось* обойдутся: отложат до будущего лета или совсем отменят перестройку: ну, *как-нибудь* да сделают! Нельзя же в самом деле… переезжать!..»

Так он попеременно волновался и успокоивался, и, наконец, в этих примирительных и успокоительных словах *авось, может быть* и *как-нибуд*ь Обломов нашел и на этот раз, как находил всегда, целый ковчег надежд и утешений, как в ковчеге завета отцов наших, и в настоящую минуту он успел оградить себя ими от двух несчастий.

Уже легкое, приятное онемение пробежало по членам его и начало чуть-чуть туманить сном его чувства, как первые, робкие морозцы туманят поверхность вод; еще минута – и сознание улетело бы бог весть куда, но вдруг Илья Ильич очнулся и открыл глаза.

– А ведь я не умылся! Как же это? Да и ничего не сделал, – прошептал он. – Хотел изложить план на бумагу и не изложил, к исправнику не написал, к губернатору тоже, к домовому хозяину начал письмо и не кончил, счетов не поверил и денег не выдал – утро так и пропало!

Он задумался…

«Что ж это такое? А *другой* бы все это сделал? – мелькнуло у него в голове. – Другой, другой… Что же это такое *другой*?»

Он углубился в сравнение себя с «другим». Он начал думать, думать: и теперь у него формировалась идея, совсем противоположная той, которую он дал Захару о *другом*.

Он должен был признать, что другой успел бы написать все письма, так что *который* и *что* ни разу не столкнулись бы между собою, другой и переехал бы на новую квартиру, и план исполнил бы, и в деревню съездил бы…

«Ведь и я бы мог все это… – думалось ему, – ведь я умею, кажется, и писать; писывал, бывало, не то что письма, и помудренее этого! Куда же все это делось? И переехать что за штука? Стоит захотеть! „Другой“ и халата никогда не надевает, – прибавилось еще к характеристике другого; – „другой“… – тут он зевнул… – почти не спит… „другой“ тешится жизнью, везде бывает, все видит, до всего ему дело… А я! я… не „другой“!» – уже с грустью сказал он и впал в глубокую думу. Он даже высвободил голову из-под одеяла.

Настала одна из ясных сознательных минут в жизни Обломова.

Как страшно стало ему, когда вдруг в душе его возникло живое и ясное представление о человеческой судьбе и назначении, и когда мелькнула параллель между этим назначением и

собственной его жизнью, когда в голове просыпались один за другим и беспорядочно, пугливо носились, как птицы, пробужденные внезапным лучом солнца в дремлющей развалине, разные жизненные вопросы.

Ему грустно и больно стало за свою неразвитость, остановку в росте нравственных сил, за тяжесть, мешающую всему; и зависть грызла его, что другие так полно и широко живут, а у него как будто тяжелый камень брошен на узкой и жалкой тропе его существования.

В робкой душе его выработывалось мучительное сознание, что многие стороны его натуры не пробуждались совсем, другие были чуть-чуть тронуты, и ни одна не разработана до конца.

А между тем он болезненно чувствовал, что в нем зарыто, как в могиле, какое-то хорошее, светлое начало, может быть, теперь уже умершее, или лежит оно, как золото в недрах горы, и давно бы пора этому золоту быть ходячей монетой.

Но глубоко и тяжело завален клад дрянью, наносным сором. Кто-то будто украл и закопал в собственной его душе принесенные ему в дар миром и жизнью сокровища. Что-то помешало ему ринуться на поприще жизни и лететь по нему на всех парусах ума и воли. Какой-то тайный враг наложил на него тяжелую руку в начале пути и далеко отбросил от прямого человеческого назначения…

И уж не выбраться ему, кажется, из глуши и дичи на прямую тропинку. Лес кругом его и в душе все чаще и темнее; тропинка зарастает более и более; светлое сознание просыпается все реже и только на мгновение будит спящие силы. Ум и воля давно парализованы, и, кажется, безвозвратно.

События его жизни умельчились до микроскопических размеров, но и с теми событиями не справится он; он не переходит от одного к другому, а перебрасывается ими, как с волны на волну; он не в силах одному противопоставить упругость воли или увлечься разумом вслед за другим.

Горько становилось ему от этой тайной исповеди перед самим собою. Бесплодные сожаления о минувшем, жгучие упреки совести язвили его, как иглы, и он всеми силами старался свергнуть с себя бремя этих упреков, найти виноватого вне себя и на него обратить жало их. Но на кого?

– Это все… Захар! – прошептал он.

Вспомнил он подробности сцены с Захаром, и лицо его вспыхнуло целым пожаром стыда.

«Что, если б кто-нибудь слышал это?.. – думал он, цепенея от этой мысли. – Слава богу, что Захар не сумеет пересказать никому; да и не поверят; слава богу!»

Он вздыхал, проклинал себя, ворочался с боку на бок, искал виноватого и не находил. Охи и вздохи его достигли даже до ушей Захара.

– Эк его там с квасу-то раздувает! – с сердцем ворчал Захар.

«Отчего же это я такой, – почти со слезами спросил себя Обломов и спрятал опять голову под одеяло, – право?»

Поискав бесполезно враждебного начала, мешающего ему жить как следует, как живут «другие», он вздохнул, закрыл глаза, и чрез несколько минут дремота опять начала понемногу оковывать его чувства.

– И я бы тоже… хотел… – говорил он, мигая с трудом, – что-нибудь такое… Разве природа уж так обидела меня… Да нет, слава богу… жаловаться нельзя…

За этим послышался примирительный вздох. Он переходил от волнения к нормальному своему состоянию, спокойствию и апатии.

– Видно, уж так судьба… Что ж мне тут делать?.. – едва шептал он, одолеваемый сном.

– «Яко две тысячи поменее доходу…» – сказал он вдруг громко в бреду. – Сейчас, сейчас, погоди… – и очнулся вполовину.

– Однако… любопытно бы знать… отчего я… такой?.. – сказал он опять шепотом. Веки у него закрылись совсем. – Да, отчего?.. Должно быть… это… оттого… – силился выговорить он и не выговорил.

Так он и не додумался до причины; язык и губы мгновенно замерли на полуслове и остались, как были, полуоткрыты. Вместо слова послышался еще вздох, и вслед за тем начало раздаваться ровное храпенье безмятежно спящего человека.

Сон остановил медленный и ленивый поток его мыслей и мгновенно перенес его в другую эпоху, к другим людям, в другое место, куда перенесемся за ним и мы с читателем в следующей главе.

IX. Сон Обломова

Где мы? В какой благословенный уголок земли перенес нас сон Обломова? Что за чудный край!

Нет, правда, там моря, нет высоких гор, скал и пропастей, ни дремучих лесов – нет ничего грандиозного, дикого и угрюмого.

Да и зачем оно, это дикое и грандиозное? Море, например? Бог с ним! Оно наводит только грусть на человека: глядя на него, хочется плакать. Сердце смущается робостью перед необозримой пеленой вод, и не на чем отдохнуть взгляду, измученному однообразием бесконечной картины.

Рев и бешеные раскаты валов не нежат слабого слуха: они всё твердят свою, от начала мира одну и ту же песнь мрачного и неразгаданного содержания; и все слышится в ней один и тот же стон, одни и те же жалобы будто обреченного на муку чудовища, да чьи-то пронзительные, зловещие голоса. Птицы не щебечут вокруг; только безмолвные чайки, как осужденные, уныло носятся у прибрежья и кружатся над водой.

Бессилен рев зверя перед этими воплями природы, ничтожен и голос человека, и сам человек так мал, слаб, так незаметно исчезает в мелких подробностях широкой картины! От этого, может быть, так и тяжело ему смотреть на море.

Нет, бог с ним, с морем! Самая тишина и неподвижность его не рождают отрадного чувства в душе: в едва заметном колебании водяной массы человек все видит ту же необъятную, хотя и спящую силу, которая подчас так ядовито издевается над его гордой волей и так глубоко хоронит его отважные замыслы, все его хлопоты и труды.

Горы и пропасти созданы тоже не для увеселения человека. Они грозны, страшны, как выпущенные и устремленные на него когти и зубы дикого зверя; они слишком живо напоминают нам бренный состав наш и держат в страхе и тоске за жизнь. И небо там, над скалами и пропастями, кажется таким далеким и недосягаемым, как будто оно отступилось от людей.

Не таков мирный уголок, где вдруг очутился наш герой.

Небо там, кажется, напротив, ближе жмется к земле, но не с тем, чтоб метать сильнее стрелы, а разве только чтоб обнять ее покрепче, с любовью: оно распростерлось так невысоко над головой, как родительская надежная кровля, чтоб уберечь, кажется, избранный уголок от всяких невзгод.

Солнце там ярко и жарко светит около полугода и потом удаляется оттуда не вдруг, точно нехотя, как будто оборачивается назад взглянуть еще раз или два на любимое место и подарить ему осенью, среди ненастья, ясный, теплый день.

Горы там как будто только модели тех страшных где-то воздвигнутых гор, которые ужасают воображение. Это ряд отлогих холмов, с которых приятно кататься, резвясь, на спине или, сидя на них, смотреть в раздумье на заходящее солнце.

Река бежит весело, шаля и играя; она то разольется в широкий пруд, то стремится быстрой нитью, или присмиреет, будто задумавшись, и чуть-чуть ползет по камешкам, выпуская из себя по сторонам резвые ручьи, под журчанье которых сладко дремлется.

Весь уголок верст на пятнадцать или на двадцать вокруг представлял ряд живописных этюдов, веселых, улыбающихся пейзажей. Песчаные и отлогие берега светлой речки, подбирающийся с холма к воде мелкий кустарник, искривленный овраг с ручьем на дне и березовая роща – все как будто было нарочно прибрано одно к одному и мастерски нарисовано.

Измученное волнениями или вовсе не знакомое с ними сердце так и просится спрятаться в этот забытый всеми уголок и жить никому не ведомым счастьем. Все сулит там покойную, долговременную жизнь до желтизны волос и незаметную, сну подобную смерть.

Правильно и невозмутимо совершается там годовой круг.

По указанию календаря наступит в марте весна, побегут грязные ручьи с холмов, оттает земля и задымится теплым паром; скинет крестьянин полушубок, выйдет в одной рубашке на воздух и, прикрыв глаза рукой, долго любуется солнцем, с удовольствием пожимая плечами; потом он потянет опрокинутую вверх дном телегу то за одну, то за другую оглоблю или осмотрит и ударит ногой праздно лежащую под навесом соху, готовясь к обычным трудам.

Не возвращаются внезапные вьюги весной, не засыпают полей и не ломают снегом деревьев.

Зима, как неприступная, холодная красавица, выдерживает свой характер вплоть до узаконенной поры тепла; не дразнит неожиданными оттепелями и не гнет в три дуги неслыханными морозами; все идет обычным, предписанным природой общим порядком.

В ноябре начинается снег и мороз, который к Крещенью усиливается до того, что крестьянин, выйдя на минуту из избы, воротится непременно с инеем на бороде; а в феврале чуткий нос уж чувствует в воздухе мягкое веянье близкой весны.

Но лето, лето особенно упоительно в том краю. Там надо искать свежего, сухого воздуха, напоенного – не лимоном и не лавром, а просто запахом полыни, сосны и черемухи; там искать ясных дней, слегка жгучих, но не палящих лучей солнца и почти в течение трех месяцев безоблачного неба.

Как пойдут ясные дни, то и длятся недели три-четыре; и вечер тепел там, и ночь душна. Звезды так приветливо, так дружески мигают с небес.

Дождь ли пойдет – какой благотворный летний дождь! Хлынет бойко, обильно, весело запрыгает, точно крупные и жаркие слезы внезапно обрадованного человека; а только перестанет – солнце уже опять с ясной улыбкой любви осматривает и сушит поля и пригорки; и вся страна опять улыбается счастьем в ответ солнцу.

Радостно приветствует дождь крестьянин: «Дождичек вымочит, солнышко высушит!» – говорит он, подставляя с наслаждением под теплый ливень лицо, плечи и спину.

Грозы не страшны, а только благотворны там бывают постоянно в одно и то же установленное время, не забывая почти никогда Ильина дня, как будто для того, чтоб поддержать известное предание в народе. И число и сила ударов, кажется, всякий год одни и те же, точно как будто из казны отпускалась на год на весь край известная мера электричества.

Ни страшных бурь, ни разрушений не слыхать в том краю.

В газетах ни разу никому не случилось прочесть чего-нибудь подобного об этом благословенном Богом уголке. И никогда бы ничего и не было напечатано, и не слыхали бы про этот край, если б только крестьянская вдова Марина Кулькова, двадцати восьми лет, не родила зараз четырех младенцев, о чем уже умолчать никак было нельзя.

Не наказывал Господь той стороны ни египетскими, ни простыми язвами. Никто из жителей не видал и не помнит никаких страшных небесных знамений, ни шаров огненных, ни внезапной темноты; не водится там ядовитых гадов; саранча не залетает туда; нет ни львов рыкающих, ни тигров ревущих, ни даже медведей и волков, потому что нет лесов. По полям и по деревне бродят только в обилии коровы жующие, овцы блеющие и куры кудахтающие.

Бог знает, удовольствовался ли бы поэт или мечтатель природой мирного уголка. Эти господа, как известно, любят засматриваться на луну да слушать щелканье соловьев. Любят они луну-кокетку, которая бы наряжалась в палевые облака да сквозила таинственно через ветви дерев или сыпала снопы серебряных лучей в глаза своим поклонникам.

А в этом краю никто и не знал, что за луна такая, – все называли ее месяцем. Она как-то добродушно, во все глаза смотрела на деревни и поле и очень походила на медный вычищенный таз.

Напрасно поэт стал бы глядеть восторженными глазами на нее: она так же бы простодушно глядела и на поэта, как круглолицая деревенская красавица глядит в ответ на страстные и красноречивые взгляды городского волокиты.

Соловьев тоже не слыхать в том краю, может быть оттого, что не водилось там тенистых приютов и роз; но зато какое обилие перепелов! Летом, при уборке хлеба, мальчишки ловят их руками.

Да не подумают, однако ж, чтоб перепела составляли там предмет гастрономической роскоши, – нет, такое развращение не проникло в нравы жителей того края: перепел – птица, уставом в пищу не показанная. Она там услаждает людской слух пением: оттого почти в каждом дому под кровлей в нитяной клетке висит перепел.

Поэт и мечтатель не остались бы довольны даже общим видом этой скромной и незатейливой местности. Не удалось бы им там видеть какого-нибудь вечера в швейцарском или шотландском вкусе, когда вся природа – и лес, и вода, и стены хижин, и песчаные холмы – все горит точно багровым заревом; когда по этому багровому фону резко оттеняется едущая по песчаной извилистой дороге кавалькада мужчин, сопутствующих какой-нибудь леди в прогулках к угрюмой развалине и поспешающих в крепкий замок, где их ожидает эпизод о войне двух роз, рассказанный дедом, дикая коза на ужин да пропетая молодою мисс под звуки лютни баллада – картины, которыми так богато населило наше воображение перо Вальтера Скотта.

Нет, этого ничего не было в нашем краю.

Как все тихо, все сонно в трех-четырех деревеньках, составляющих этот уголок! Они лежали недалеко друг от друга и были как будто случайно брошены гигантской рукой и рассыпались в разные стороны, да так с тех пор и остались.

Как одна изба попала на обрыв оврага, так и висит там с незапамятных времен, стоя одной половиной на воздухе и подпираясь тремя жердями. Три-четыре поколения тихо и счастливо прожили в ней.

Кажется, курице страшно бы войти в нее, а там живет с женой Онисим Суслов, мужчина солидный, который не уставится во весь рост в своем жилище.

Не всякий и сумеет войти в избу к Онисиму; разве только что посетитель упросит ее *стать к лесу задом, а к нему передом*.

Крыльцо висело над оврагом, и, чтоб попасть на крыльцо ногой, надо было одной рукой ухватиться за траву, другой за кровлю избы и потом шагнуть прямо на крыльцо.

Другая изба прилепилась к пригорку, как ласточкино гнездо; там три очутились случайно рядом, а две стоят на самом дне оврага.

Тихо и сонно все в деревне: безмолвные избы отворены настежь; не видно ни души; одни мухи тучами летают и жужжат в духоте.

Войдя в избу, напрасно станешь кликать громко: мертвое молчание будет ответом: в редкой избе отзовется болезненным стоном или глухим кашлем старуха, доживающая свой век на печи, или появится из-за перегородки босой длинноволосый трехлетний ребенок, в одной рубашонке, молча, пристально поглядит на вошедшего и робко спрячется опять.

Та же глубокая тишина и мир лежат и на полях; только кое-где, как муравей, гомозится на черной ниве палимый зноем пахарь, налегая на соху и обливаясь потом.

Тишина и невозмутимое спокойствие царствуют и в нравах людей в том краю. Ни грабежей, ни убийств, никаких страшных случайностей не бывало там; ни сильные страсти, ни отважные предприятия не волновали их.

И какие бы страсти и предприятия могли волновать их? Всякий знал там самого себя. Обитатели этого края далеко жили от других людей. Ближайшие деревни и уездный город были верстах в двадцати пяти и тридцати.

Крестьяне в известное время возили хлеб на ближайшую пристань к Волге, которая была их Колхидой и Геркулесовыми Столпами, да раз в год ездили некоторые на ярмарку, и более никаких сношений ни с кем не имели.

Интересы их были сосредоточены на них самих, не перекрещивались и не соприкасались ни с чьими.

Они знали, что в восьмидесяти верстах от них была «губерния», то есть губернский город, но редкие езжали туда; потом знали, что подальше, там, Саратов или Нижний; слыхали, что есть Москва и Питер, что за Питером живут французы или немцы, а далее уже начинался для них, как для древних, темный мир, неизвестные страны, населенные чудовищами, людьми о двух головах, великанами; там следовал мрак – и, наконец, все оканчивалось той рыбой, которая держит на себе землю.

И как уголок их был почти непроезжий, то и неоткуда было почерпать новейших известий о том, что делается на белом свете: обозники с деревянной посудой жили только в двадцати верстах и знали не больше их. Не с чем даже было сличить им своего житья-бытья: хорошо ли они живут, нет ли; богаты ли они, бедны ли; можно ли было чего еще пожелать, что есть у других.

Счастливые люди жили, думая, что иначе и не должно и не может быть, уверенные, что и все другие живут точно так же и что жить иначе – грех.

Они бы и не поверили, если б сказали им, что другие как-нибудь иначе пашут, сеют, жнут, продают. Какие же страсти и волнения могли быть у них?

У них, как и у всех людей, были и заботы и слабости, взнос подати или оброка, лень и сон; но все это обходилось им дешево, без волнений крови.

В последние пять лет из нескольких сот душ не умер никто, не то что насильственною, даже естественною смертью.

А если кто от старости или от какой-нибудь застарелой болезни и почил вечным сном, то там долго после того не могли надивиться такому необыкновенному случаю.

Между тем им нисколько не показалось удивительно, как это, например, кузнец Тарас чуть было собственноручно не запарился до смерти в землянке, до того, что надо было отливать его водой.

Из преступлений одно, именно: кража гороху, моркови и репы по огородам, было в большом ходу, да однажды вдруг исчезли два поросенка и курица – происшествие, возмутившее весь околоток и приписанное единогласно проходившему накануне обозу с деревянной посудой на ярмарку. А то вообще случайности всякого рода были весьма редки.

Однажды, впрочем, еще найден был лежащий за околицей, в канаве, у моста, видно, отставший от проходившей в город артели человек.

Мальчишки первые заметили его и с ужасом прибежали в деревню с вестью о каком-то страшном змее или оборотне, который лежит в канаве, прибавив, что он погнался за ними и чуть не съел Кузьку.

Мужики, поудалее, вооружились вилами и топорами и гурьбой пошли к канаве.

– Куда вас несет? – унимали старики. – Аль шея-то крепка? Чего вам надо? Не замайте: вас не гонят.

Но мужики пошли и сажен за пятьдесят до места стали окликать чудовище разными голосами: ответа не было; они остановились; потом опять двинулись.

В канаве лежал мужик, опершись головой в пригорок; около него валялись мешок и палка, на которой навешаны были две пары лаптей.

Мужики не решались ни подходить близко, ни трогать.

– Эй! Ты, брат! – кричали они по очереди, почесывая кто затылок, кто спину. – Как там тебя? Эй, ты! Что тебе тут?

Прохожий сделал движение, чтоб приподнять голову, но не мог: он, по-видимому, был нездоров или очень утомлен.

Один решился было тронуть его вилой.

– Не замай! Не замай! – закричали многие. – Почем знать, какой он; ишь не бает ничего; может быть, какой-нибудь такой… Не замайте его, ребята!

– Пойдем, – говорили некоторые, – право-слово, пойдем: что он нам, дядя, что ли? Только беды с ним!

И все ушли назад, в деревню, рассказав старикам, что там лежит нездешний, ничего не бает, и бог его ведает, что он там…

– Нездешний, так и не замайте! – говорили старики, сидя на завалинке и положив локти на коленки. – Пусть его себе! И ходить не по что было вам!

Таков был уголок, куда вдруг перенесся во сне Обломов.

Из трех или четырех разбросанных там деревень была одна Сосновка, другая Вавиловка, в одной версте друг от друга.

Сосновка и Вавиловка были наследственной отчиной рода Обломовых и оттого известны были под общим именем Обломовки.

В Сосновке была господская усадьба и резиденция. Верстах в пяти от Сосновки лежало сельцо Верхлёво, тоже принадлежавшее некогда фамилии Обломовых и давно перешедшее в другие руки, и еще несколько причисленных к этому же селу кое-где разбросанных изб.

Село принадлежало богатому помещику, который никогда не показывался в свое имение: им заведовал управляющий из немцев.

Вот и вся география этого уголка.

Илья Ильич проснулся утром в своей маленькой постельке. Ему только семь лет. Ему легко, весело.

Какой он хорошенький, красненький, полный! Щечки такие кругленькие, что иной шалун надуется нарочно, а таких не сделает.

Няня ждет его пробуждения. Она начинает натягивать ему чулочки; он не дается, шалит, болтает ногами; няня ловит его, и оба они хохочут.

Наконец удалось ей поднять его на ноги; она умывает его, причесывает головку и ведет к матери.

Обломов, увидев давно умершую мать, и во сне затрепетал от радости, от жаркой любви к ней: у него, у сонного, медленно выплыли из-под ресниц и стали неподвижно две теплые слезы.

Мать осыпала его страстными поцелуями, потом осмотрела его жадными, заботливыми глазами, не мутны ли глазки, спросила, не болит ли что-нибудь, расспросила няньку, покойно ли он спал, не просыпался ли ночью, не метался ли во сне, не было ли у него жару? Потом взяла его за руку и подвела его к образу.

Там, став на колени и обняв его одной рукой, подсказывала она ему слова молитвы.

Мальчик рассеянно повторял их, глядя в окно, откуда лилась в комнату прохлада и запах сирени.

– Мы, маменька, сегодня пойдем гулять? – вдруг спрашивал он среди молитвы.

– Пойдем, душенька, – торопливо говорила она, не отводя от иконы глаз и спеша договорить святые слова.

Мальчик вяло повторял их, но мать влагала в них всю свою душу.

Потом шли к отцу, потом к чаю.

Около чайного стола Обломов увидал живущую у них престарелую тетку, восьмидесяти лет, беспрерывно ворчавшую на свою девчонку, которая, тряся от старости головой, прислуживала ей, стоя за ее стулом. Там и три пожилые девушки, дальние родственницы отца его, и немного помешанный деверь его матери, и помещик семи душ, Чекменев, гостивший у них, и еще какие-то старушки и старички.

Весь этот штат и свита дома Обломовых подхватили Илью Ильича и начали осыпать его ласками и похвалами; он едва успевал утирать следы непрошеных поцелуев.

После того начиналось кормление его булочками, сухариками, сливочками.

Потом мать, приласкав его еще, отпускала гулять в сад, по двору, на луг, с строгим подтверждением няньке не оставлять ребенка одного, не допускать к лошадям, к собакам, к козлу,

не уходить далеко от дома, а главное, не пускать его в овраг, как самое страшное место в околотке, пользовавшееся дурною репутацией.

Там нашли однажды собаку, признанную бешеною потому только, что она бросилась от людей прочь, когда на нее собрались с вилами и топорами, исчезла где-то за горой; в овраг свозили падаль; в овраге предполагались и разбойники, и волки, и разные другие существа, которых или в том краю, или совсем на свете не было.

Ребенок не дождался предостережений матери: он уж давно на дворе.

Он с радостным изумлением, как будто в первый раз, осмотрел и обежал кругом родительский дом, с покривившимися набок воротами, с севшей на середине деревянной кровлей, на которой рос нежный зеленый мох, с шатающимся крыльцом, разными пристройками и настройками и с запущенным садом.

Ему страсть хочется взбежать на огибавшую весь дом висячую галерею, чтоб посмотреть оттуда на речку; но галерея ветха, чуть-чуть держится, и по ней дозволяется ходить только «людям», а господа не ходят.

Он не внимал запрещениям матери и уже направился было к соблазнительным ступеням, но на крыльце показалась няня и кое-как поймала его.

Он бросился от нее к сеновалу, с намерением взобраться туда по крутой лестнице, и едва она поспевала дойти до сеновала, как уж надо было спешить разрушать его замыслы влезть на голубятню, проникнуть на скотный двор и, чего боже сохрани! – в овраг.

– Ах ты, господи, что за ребенок, за юла за такая! Да посидишь ли ты смирно, сударь? Стыдно! – говорила нянька.

И целый день, и все дни и ночи няни наполнены были суматохой, беготней: то пыткой, то живой радостью за ребенка, то страхом, что он упадет и расшибет нос, то умилением от его непритворной детской ласки или смутной тоской за отдаленную его будущность: этим только и билось сердце ее, этими волнениями подогревалась кровь старухи, и поддерживалась кое-как ими сонная жизнь ее, которая без того, может быть, угасла бы давным-давно.

Не все резв, однако ж, ребенок: он иногда вдруг присмиреет, сидя подле няни, и смотрит на все так пристально. Детский ум его наблюдает все совершающиеся перед ним явления; они западают глубоко в душу его, потом растут и зреют вместе с ним.

Утро великолепное; в воздухе прохладно; солнце еще не высоко. От дома, от деревьев, и от голубятни, и от галереи – от всего побежали далеко длинные тени. В саду и на дворе образовались прохладные уголки, манящие к задумчивости и сну. Только вдали поле с рожью точно горит огнем, да речка так блестит и сверкает на солнце, что глазам больно.

– Отчего это, няня, тут темно, а там светло, а ужо будет и там светло? – спрашивал ребенок.

– Оттого, батюшка, что солнце идет навстречу месяцу и не видит его, так и хмурится; а ужо, как завидит издали, так и просветлеет.

Задумывается ребенок и все смотрит вокруг: видит он, как Антип поехал за водой, а по земле, рядом с ним, шел другой Антип, вдесятеро больше настоящего, и бочка казалась с дом величиной, а тень лошади покрыла собой весь луг, тень шагнула только два раза по лугу и вдруг двинулась за гору, а Антип еще и со двора не успел съехать.

Ребенок тоже шагнул раза два, еще шаг – и он уйдет за гору.

Ему хотелось бы к горе, посмотреть, куда делась лошадь. Он к воротам, но из окна послышался голос матери:

– Няня! Не видишь, что ребенок выбежал на солнышко! Уведи его в холодок; напечет ему головку – будет болеть, тошно сделается, кушать не станет. Он этак у тебя в овраг уйдет!

– У! баловень! – тихо ворчит нянька, утаскивая его на крыльцо.

Смотрит ребенок и наблюдает острым и переимчивым взглядом, как и что делают взрослые, чему посвящают они утро.

Ни одна мелочь, ни одна черта не ускользает от пытливого внимания ребенка; неизгладимо врезывается в душу картина домашнего быта; напитывается мягкий ум живыми примерами и бессознательно чертит программу своей жизни по жизни, его окружающей.

Нельзя сказать, чтоб утро пропадало даром в доме Обломовых. Стук ножей, рубивших котлеты и зелень в кухне, долетал даже до деревни.

Из людской слышалось шипенье веретена да тихий, тоненький голос бабы: трудно было распознать, плачет ли она или импровизирует заунывную песню без слов.

На дворе, как только Антип воротился с бочкой, из разных углов поползли к ней с ведрами, корытами и кувшинами бабы, кучера.

А там старуха пронесет из амбара в кухню чашку с мукой да кучу яиц; там повар вдруг выплеснет воду из окошка и обольет Арапку, которая целое утро, не сводя глаз, смотрит в окно, ласково виляя хвостом и облизываясь.

Сам Обломов – старик тоже не без занятий. Он целое утро сидит у окна и неукоснительно наблюдает за всем, что делается на дворе.

– Эй, Игнашка! Что несешь, дурак? – спросит он идущего по двору человека.

– Несу ножи точить в людскую, – отвечает тот, не взглянув на барина.

– Ну неси, неси; да хорошенько, смотри, наточи!

Потом остановит бабу:

– Эй, баба! Баба! Куда ходила?

– В погреб, батюшка, – говорила она, останавливаясь, и, прикрыв глаза рукой, глядела на окно, – молока к столу достать.

– Ну иди, иди! – отвечал барин. – Да смотри, не пролей молоко-то. – А ты, Захарка, постреленок, куда опять бежишь? – кричал потом. – Вот я тебе дам бегать! Уж я вижу, что ты это в третий раз бежишь. Пошел назад, в прихожую!

И Захарка шел опять дремать в прихожую.

Придут ли коровы с поля, старик первый позаботится, чтоб их напоили; завидит ли из окна, что дворняжка преследует курицу, тотчас примет строгие меры против беспорядков.

И жена его сильно занята: она часа три толкует с Аверкой, портным, как из мужниной фуфайки перешить Илюше курточку, сама рисует мелом и наблюдает, чтоб Аверка не украл сукна; потом перейдет в девичью, задаст каждой девке, сколько сплести в день кружев; потом позовет с собой Настасью Ивановну, или Степаниду Агаповну, или другую из своей свиты погулять по саду с практической целью: посмотреть, как наливается яблоко, не упало ли вчерашнее, которое уж созрело; там привить, там подрезать и т. п.

Но главною заботою была кухня и обед. Об обеде совещались целым домом; и престарелая тетка приглашалась к совету. Всякий предлагал свое блюдо: кто суп с потрохами, кто лапшу или желудок, кто рубцы, кто красную, кто белую подливку к соусу.

Всякий совет принимался в соображение, обсуживался обстоятельно и потом принимался или отвергался по окончательному приговору хозяйки.

На кухню посылались беспрестанно то Настасья Петровна, то Степанида Ивановна напомнить о том, прибавить это или отменить то, отнести сахару, меду, вина для кушанья и посмотреть, все ли положит повар, что отпущено.

Забота о пище была первая и главная жизненная забота в Обломовке. Какие телята утучнялись там к годовым праздникам! Какая птица воспитывалась! Сколько тонких соображений, сколько занятий и забот в ухаживанье за нею! Индейки и цыплята, назначаемые к именинам и другим торжественным дням, откармливались орехами; гусей лишали моциона, заставляли висеть в мешке неподвижно за несколько дней до праздника, чтоб они заплыли жиром. Какие запасы были там варений, солений, печений! Какие меды, какие квасы варились, какие пироги пеклись в Обломовке!

И так до полудня все суетилось и заботилось, все жило такою полною, муравьиною, такою заметною жизнью.

В воскресенье и в праздничные дни тоже не унимались эти трудолюбивые муравьи: тогда стук ножей на кухне раздавался чаще и сильнее; баба совершала несколько раз путешествие из амбара в кухню с двойным количеством муки и яиц; на птичьем дворе было более стонов и кровопролитий. Пекли исполинский пирог, который сами господа ели еще на другой день; на третий и четвертый день остатки поступали в девичью; пирог доживал до пятницы, так что один совсем черствый конец, без всякой начинки, доставался, в виде особой милости, Антипу, который, перекрестясь, с треском неустрашимо разрушал эту любопытную окаменелость, наслаждаясь более сознанием, что это господский пирог, нежели самым пирогом, как археолог, с наслаждением пьющий дрянное вино из черепка какой-нибудь тысячелетней посуды.

А ребенок все смотрел и все наблюдал своим детским, ничего не пропускающим умом. Он видел, как после полезно и хлопотливо проведенного утра наставал полдень и обед.

Полдень знойный; на небе ни облачка. Солнце стоит неподвижно над головой и жжет траву. Воздух перестал струиться и висит без движения. Ни дерево, ни вода не шелохнутся; над деревней и полем лежит невозмутимая тишина – все как будто вымерло. Звонко и далеко раздается человеческий голос в пустоте. В двадцати саженях слышно, как пролетит и прожужжит жук, да в густой траве кто-то все храпит, как будто кто-нибудь завалился туда и спит сладким сном.

И в доме воцарилась мертвая тишина. Наступил час всеобщего послеобеденного сна.

Ребенок видит, что и отец, и мать, и старая тетка, и свита – все разбрелись по своим углам; а у кого не было его, тот шел на сеновал, другой в сад, третий искал прохлады в сенях, а иной, прикрыв лицо платком от мух, засыпал там, где сморила его жара и повалил громоздкий обед. И садовник растянулся под кустом в саду, подле своей пешни, и кучер спал на конюшне.

Илья Ильич заглянул в людскую: в людской все легли вповалку, по лавкам, по полу и в сенях, предоставив ребятишек самим себе; ребятишки ползают по двору и роются в песке. И собаки далеко залезли в конуры, благо не на кого было лаять.

Можно было пройти по всему дому насквозь и не встретить ни души; легко было обокрасть все кругом и свезти со двора на подводах: никто не помешал бы, если б только водились воры в том краю.

Это был какой-то всепоглощающий, ничем не победимый сон, истинное подобие смерти. Все мертво, только из всех углов несется разнообразное храпенье на все тоны и лады.

Изредка кто-нибудь вдруг поднимет со сна голову, посмотрит бессмысленно, с удивлением, на обе стороны и перевернется на другой бок или, не открывая глаз, плюнет спросонья и, почавкав губами или поворчав что-то под нос себе, опять заснет.

А другой быстро, без всяких предварительных приготовлений, вскочит обеими ногами с своего ложа, как будто боясь потерять драгоценные минуты, схватит кружку с квасом и, подув на плавающих там мух, так, чтоб их отнесло к другому краю, отчего мухи, до тех пор неподвижные, сильно начинают шевелиться, в надежде на улучшение своего положения, промочит горло и потом падает опять на постель, как подстреленный.

А ребенок все наблюдал да наблюдал.

Он с няней после обеда опять выходил на воздух. Но и няня, несмотря на всю строгость наказов барыни и на свою собственную волю, не могла противиться обаянию сна. Она тоже заражалась этой господствовавшей в Обломовке повальной болезнью.

Сначала она бодро смотрела за ребенком, не пускала далеко от себя, строго ворчала за резвость, потом, чувствуя симптомы приближавшейся заразы, начинала упрашивать не ходить за ворота, не затрогивать козла, не лазить на голубятню или галерею.

Сама она усаживалась где-нибудь в холодке: на крыльце, на пороге погреба или просто на травке, по-видимому с тем, чтоб вязать чулок и смотреть за ребенком. Но вскоре она лениво унимала его, кивая головой.

«Влезет, ах, того и гляди, влезет эта юла на галерею, – думала она почти сквозь сон, – или еще… как бы в овраг…»

Тут голова старухи клонилась к коленям, чулок выпадал из рук; она теряла из виду ребенка и, открыв немного рот, испускала легкое храпенье.

А он с нетерпением дожидался этого мгновения, с которым начиналась его самостоятельная жизнь.

Он был как будто один в целом мире; он на цыпочках убегал от няни, осматривал всех, кто где спит; остановится и осмотрит пристально, как кто очнется, плюнет и промычит что-то во сне; потом с замирающим сердцем взбегал на галерею, обегал по скрипучим доскам кругом, лазил на голубятню, забирался в глушь сада, слушал, как жужжит жук, и далеко следил глазами его полет в воздухе; прислушивался, как кто-то все стрекочет в траве, искал и ловил нарушителей этой тишины; поймает стрекозу, оторвет ей крылья и смотрит, что из нее будет, или проткнет сквозь нее соломинку и следит, как она летает с этим прибавлением; с наслаждением, боясь дохнуть, наблюдает за пауком, как он сосет кровь пойманной мухи, как бедная жертва бьется и жужжит у него в лапах. Ребенок кончит тем, что убьет и жертву, и мучителя.

Потом он заберется в канаву, роется, отыскивает какие-то корешки, очищает от коры и ест всласть, предпочитая яблокам и варенью, которые дает маменька.

Он выбежит и за ворота: ему бы хотелось в березняк; он так близко кажется ему, что вот он в пять минут добрался бы до него, не кругом, по дороге, а прямо, через канаву, плетни и ямы; но он боится: там, говорят, и лешие, и разбойники, и страшные звери.

Хочется ему и в овраг сбегать: он всего саженях в пятидесяти от сада; ребенок уж прибегал к краю, зажмурил глаза, хотел заглянуть, как в кратер вулкана… но вдруг перед ним восстали все толки и предания об этом овраге: его объял ужас, и он, ни жив ни мертв, мчится назад и, дрожа от страха, бросился к няньке и разбудил старуху.

Она вспрянула от сна, поправила платок на голове, подобрала под него пальцем клочки седых волос и, притворяясь, что будто не спала совсем, подозрительно поглядывает на Илюшу, потом на барские окна и начинает дрожащими пальцами тыкать одну в другую спицы чулка, лежавшего у нее на коленях.

Между тем жара начала понемногу спадать; в природе стало все поживее; солнце уже подвинулось к лесу.

И в доме мало-помалу нарушалась тишина: в одном углу где-то скрипнула дверь; послышались по двору чьи-то шаги; на сеновале кто-то чихнул.

Вскоре из кухни торопливо пронес человек, нагибаясь от тяжести, огромный самовар. Начали собираться к чаю: у кого лицо измято и глаза заплыли слезами; тот належал себе красное пятно на щеке и висках; третий говорит со сна не своим голосом. Все это сопит, охает, зевает, почесывает голову и разминается, едва приходя в себя.

Обед и сон рождали неутолимую жажду. Жажда палит горло; выпивается чашек по двенадцати чаю, но это не помогает: слышится оханье, стенанье; прибегают к брусничной, к грушевой воде, к квасу, а иные и к врачебному пособию, чтоб только залить засуху в горле.

Все искали освобождения от жажды, как от какого-нибудь наказания господня; все мечутся, все томятся, точно караван путешественников аравийской степи, не находящий нигде ключа воды.

Ребенок тут, подле маменьки: он вглядывается в странные окружающие его лица, вслушивается в их сонный и вялый разговор. Весело ему смотреть на них, любопытен кажется ему всякий сказанный ими вздор.

После чая все займутся чем-нибудь: кто пойдет к речке и тихо бродит по берегу, толкая ногой камешки в воду; другой сядет к окну и ловит глазами каждое мимолетное явление: пробежит ли кошка по двору, пролетит ли галка, наблюдатель и ту и другую преследует взглядом и кончиком своего носа, поворачивая голову то направо, то налево. Так иногда собаки любят сидеть по целым дням на окне, подставляя голову под солнышко и тщательно оглядывая всякого прохожего.

Мать возьмет голову Илюши, положит к себе на колени и медленно расчесывает ему волосы, любуясь мягкостью их и заставляя любоваться и Настасью Ивановну, и Степаниду Тихоновну, и разговаривает с ними о будущности Илюши, ставит его героем какой-нибудь созданной ею блистательной эпопеи. Те сулят ему золотые горы.

Но вот начинает смеркаться. На кухне опять трещит огонь, опять раздается дробный стук ножей: готовится ужин.

Дворня собралась у ворот: там слышится балалайка, хохот. Люди играют в горелки.

А солнце уж опускалось за лес; оно бросало несколько чуть-чуть теплых лучей, которые прорезывались огненной полосой через весь лес, ярко обливая золотом верхушки сосен. Потом лучи гасли один за другим; последний луч оставался долго; он, как тонкая игла, вонзился в чащу ветвей; но и тот потух.

Предметы теряли свою форму; все сливалось сначала в серую, потом в темную массу. Пение птиц постепенно ослабевало; вскоре они совсем замолкли, кроме одной какой-то упрямой, которая, будто наперекор всем, среди общей тишины, одна монотонно чирикала с промежутками, но все реже и реже, и та, наконец, свистнула слабо, незвучно, в последний раз, встрепенулась, слегка пошевелив листья вокруг себя… и заснула.

Все смолкло. Одни кузнечики взапуски трещали сильнее. Из земли поднялись белые пары и разостлались по лугу и по реке. Река тоже присмирела; немного погодя и в ней вдруг кто-то плеснул еще в последний раз, и она стала неподвижна.

Запахло сыростью. Становилось все темнее и темнее. Деревья сгруппировались в каких-то чудовищ; в лесу стало страшно: там кто-то вдруг заскрипит, точно одно из чудовищ переходит с своего места на другое, и сухой сучок, кажется, хрустит под его ногой.

На небе ярко сверкнула, как живой глаз, первая звездочка, и в окнах дома замелькали огоньки.

Настали минуты всеобщей, торжественной тишины природы, те минуты, когда сильнее работает творческий ум, жарче кипят поэтические думы, когда в сердце живее вспыхивает страсть или больнее ноет тоска, когда в жестокой душе невозмутимее и сильнее зреет зерно преступной мысли, и когда… в Обломовке все почивают так крепко и покойно.

– Пойдем, мама, гулять, – говорит Илюша.

– Что ты, бог с тобой! Теперь гулять, – отвечает она, – сыро, ножки простудишь; и страшно: в лесу теперь леший ходит, он уносит маленьких детей.

– Куда он уносит? Какой он бывает? Где живет? – спрашивает ребенок.

И мать давала волю своей необузданной фантазии.

Ребенок слушал ее, открывая и закрывая глаза, пока, наконец, сон не сморит его совсем. Приходила нянька и, взяв его с коленей матери, уносила сонного, с повисшей через ее плечо головой, в постель.

– Вот день-то и прошел, и слава богу! – говорили обломовцы, ложась в постель, кряхтя и осеняя себя крестным знамением. – Прожили благополучно; дай бог и завтра так! Слава тебе, господи! Слава тебе, господи!

Потом Обломову приснилась другая пора: он в бесконечный зимний вечер робко жмется к няне, а она нашептывает ему о какой-то неведомой стороне, где нет ни ночей, ни холода, где все совершаются чудеса, где текут реки меду и молока, где никто ничего круглый год не делает,

а день-деньской только и знают, что гуляют всё добрые молодцы, такие, как Илья Ильич, да красавицы, что ни в сказке сказать, ни пером описать.

Там есть и добрая волшебница, являющаяся у нас иногда в виде щуки, которая изберет себе какого-нибудь любимца, тихого, безобидного, другими словами, какого-нибудь лентяя, которого все обижают, да и осыпает его, ни с того ни с сего, разным добром, а он знай кушает себе да наряжается в готовое платье, а потом женится на какой-нибудь неслыханной красавице, Милитрисе Кирбитьевне.

Ребенок, навострив уши и глаза, страстно впивался в рассказ.

Нянька или предание так искусно избегали в рассказе всего, что существует на самом деле, что воображение и ум, проникшись вымыслом, оставались уже у него в рабстве до старости. Нянька с добродушием повествовала сказку о Емеле-дурачке, эту злую и коварную сатиру на наших прадедов, а может быть, еще и на нас самих.

Взрослый Илья Ильич хотя после и узнает, что нет медовых и молочных рек, нет добрых волшебниц, хотя и шутит он с улыбкой над сказаниями няни, но улыбка эта не искренняя, она сопровождается тайным вздохом: сказка у него смешалась с жизнью, и он бессознательно грустит подчас, зачем сказка не жизнь, а жизнь не сказка.

Он невольно мечтает о Милитрисе Кирбитьевне; его все тянет в ту сторону, где только и знают, что гуляют, где нет забот и печалей; у него навсегда остается расположение полежать на печи, походить в готовом, незаработанном платье и поесть на счет доброй волшебницы.

И старик Обломов, и дед выслушивали в детстве те же сказки, прошедшие в стереотипном издании старины, в устах нянек и дядек, сквозь века и поколения.

Няня между тем уж рисует другую картину воображению ребенка.

Она повествует ему о подвигах наших Ахиллов и Улиссов, об удали *Ильи Муромца, Добрыни Никитича, Алеши Поповича*, о *Полкане-богатыре*, о *Калечище прохожем*, о том, как они странствовали по Руси, побивали несметные полчища басурманов, как состязались в том, кто одним духом выпьет чару зелена вина и не крякнет; потом говорила о злых разбойниках, о спящих царевнах, окаменелых городах и людях; наконец, переходила к нашей демонологии, к мертвецам, к чудовищам и к оборотням.

Она с простотою и добродушием Гомера, с тою же животрепещущею верностью подробностей и рельефностью картин влагала в детскую память и воображение Илиаду русской жизни, созданную нашими гомеридами тех туманных времен, когда человек еще не ладил с опасностями и тайнами природы и жизни, когда он трепетал и перед оборотнем, и перед лешим, и у Алеши Поповича искал защиты от окружавших его бед, когда и в воздухе, и в воде, и в лесу, и в поле царствовали чудеса.

Страшна и неверна была жизнь тогдашнего человека; опасно было ему выйти за порог дома: его, того гляди, запорет зверь, зарежет разбойник, отнимет у него все злой татарин, или пропадет человек без вести, без всяких следов.

А то вдруг явятся знамения небесные, огненные столпы да шары; а там, над свежей могилой, вспыхнет огонек, или в лесу кто-то прогуливается, будто с фонарем, да страшно хохочет и сверкает глазами в темноте.

И с самим человеком творилось столько непонятного: живет-живет человек долго и хорошо – ничего, да вдруг заговорит такое непутное, или учнет кричать не своим голосом, или бродить сонный по ночам; другого, ни с того ни с сего, начнет коробить и бить оземь. А перед тем как сделаться этому, только что курица прокричала петухом да ворон прокаркал над крышей.

Терялся слабый человек, с ужасом озираясь в жизни, и искал в воображении ключа к таинствам окружающей его и своей собственной природы.

А может быть, сон, вечная тишина вялой жизни и отсутствие движения и всяких действительных страхов, приключений и опасностей заставляли человека творить среди естественного

мира другой, несбыточный, и в нем искать разгула и потехи праздному воображению или разгадки обыкновенных сцеплений обстоятельств и причин явления вне самого явления.

Ощупью жили бедные предки наши; не окрыляли и не сдерживали они своей воли, а потом наивно дивились или ужасались неудобству, злу и допрашивались причин у немых, неясных иероглифов природы.

Смерть у них приключалась от вынесенного перед тем из дома покойника головой, а не ногами из ворот; пожар – от того, что собака выла три ночи под окном; и они хлопотали, чтоб покойника выносили ногами из ворот, а ели все то же, по стольку же и спали по-прежнему на голой траве; воющую собаку били или сгоняли со двора, а искры от лучины все-таки сбрасывали в трещину гнилого пола.

И поныне русский человек среди окружающей его строгой, лишенной вымысла действительности любит верить соблазнительным сказаниям старины, и долго, может быть, еще не отрешиться ему от этой веры.

Слушая от няни сказки о нашем *золотом руне – Жар-птице*, о преградах и тайниках волшебного замка, мальчик то бодрился, воображая себя героем подвига, – и мурашки бегали у него по спине, то страдал за неудачи храбреца.

Рассказ лился за рассказом. Няня повествовала с пылом, живописно, с увлечением, местами вдохновенно, потому что сама вполовину верила рассказам. Глаза старухи искрились огнем; голова дрожала от волнения; голос возвышался до непривычных нот.

Ребенок, объятый неведомым ужасом, жался к ней со слезами на глазах.

Заходила ли речь о мертвецах, поднимающихся в полночь из могил, или о жертвах, томящихся в неволе у чудовища, или о медведе с деревянной ногой, который идет по селам и деревням отыскивать отрубленную у него натуральную ногу, – волосы ребенка трещали на голове от ужаса; детское воображение то застывало, то кипело; он испытывал мучительный, сладко болезненный процесс; нервы напрягались, как струны.

Когда нянька мрачно повторяла слова медведя: «Скрипи, скрипи, нога липовая; я по селам шел, по деревне шел, все бабы спят, одна баба не спит, на моей шкуре сидит, мое мясо варит, мою шерстку прядет» и т. д.; когда медведь входил, наконец, в избу и готовился схватить похитителя своей ноги, ребенок не выдерживал: он с трепетом и визгом бросался на руки к няне; у него брызжут слезы испуга, и вместе хохочет он от радости, что он не в когтях у зверя, а на лежанке, подле няни.

Населилось воображение мальчика странными призраками; боязнь и тоска засели надолго, может быть навсегда, в душу. Он печально озирается вокруг и все видит в жизни вред, беду, все мечтает о той волшебной стороне, где нет зла, хлопот, печалей, где живет Милитриса Кирбитьевна, где так хорошо кормят и одевают даром…

Сказка не над одними детьми в Обломовке, но и над взрослыми до конца жизни сохраняет свою власть. Все в доме и в деревне, начиная от барина, жены его и до дюжего кузнеца Тараса, – все трепещут чего-то в темный вечер: всякое дерево превращается тогда в великана, всякий куст – в вертеп разбойников.

Стук ставни и завыванье ветра в трубе заставляли бледнеть и мужчин, и женщин, и детей. Никто в Крещенье не выйдет после десяти часов вечера один за ворота; всякий в ночь на Пасху побоится идти в конюшню, опасаясь застать там домового.

В Обломовке верили всему: и оборотням и мертвецам. Расскажут ли им, что копна сена разгуливала по полю, – они не задумаются и поверят; пропустит ли кто-нибудь слух, что вот это не баран, а что-то другое, или что такая-то Марфа или Степанида – ведьма, они будут бояться и барана и Марфы: им и в голову не придет спросить, отчего баран стал не бараном, а Марфа сделалась ведьмой, да еще накинутся и на того, кто бы вздумал усомниться в этом, – так сильна вера в чудесное в Обломовке!

Илья Ильич и увидит после, что просто устроен мир, что не встают мертвецы из могил, что великанов, как только они заведутся, тотчас сажают в балаган, и разбойников – в тюрьму; но если пропадает самая вера в призраки, то остается какой-то осадок страха и безотчетной тоски.

Узнал Илья Ильич, что нет бед от чудовищ, а какие есть – едва знает, и на каждом шагу все ждет чего-то страшного и боится. И теперь еще, оставшись в темной комнате или увидя покойника, он трепещет от зловещей, в детстве зароненной в душу тоски; смеясь над страхами своими поутру, он опять бледнеет вечером.

Далее Илья Ильич вдруг увидел себя мальчиком лет тринадцати или четырнадцати.

Он уж учился в селе Верхлёве, верстах в пяти от Обломовки, у тамошнего управляющего, немца Штольца, который завел небольшой пансион для детей окрестных дворян.

У него был свой сын, Андрей, почти одних лет с Обломовым, да еще отдали ему одного мальчика, который почти никогда не учился, а больше страдал золотухой, все детство проходил постоянно с завязанными глазами или ушами да плакал все втихомолку о том, что живет не у бабушки, а в чужом доме, среди злодеев, что вот его и приласкать-то некому, и никто любимого пирожка не испечет ему.

Кроме этих детей, других еще в пансионе пока не было.

Нечего делать, отец и мать посадили баловника Илюшу за книгу. Это стоило слез, воплей, капризов. Наконец отвезли.

Немец был человек дельный и строгий, как почти все немцы. Может быть, у него Илюша и успел бы выучиться чему-нибудь хорошенько, если б Обломовка была верстах в пятистах от Верхлёва. А то как выучиться? Обаяние обломовской атмосферы, образа жизни и привычек простиралось и на Верхлёво; ведь оно тоже было некогда Обломовкой; там, кроме дома Штольца, все дышало тою же первобытною ленью, простотою нравов, тишиною и неподвижностью.

Ум и сердце ребенка исполнились всех картин, сцен и нравов этого быта прежде, нежели он увидел первую книгу. А кто знает, как рано начинается развитие умственного зерна в детском мозгу? Как уследить за рождением в младенческой душе первых понятий и впечатлений?

Может быть, когда дитя еще едва выговаривало слова, а может быть, еще вовсе не выговаривало, даже не ходило, а только смотрело на все тем пристальным немым детским взглядом, который взрослые называют тупым, оно уж видело и угадывало значение и связь явлений окружающей его сферы, да только не признавалось в этом ни себе, ни другим.

Может быть, Илюша уж давно замечает и понимает, что говорят и делают при нем: как батюшка его, в плисовых панталонах, в коричневой суконной ваточной куртке, день-деньской только и знает, что ходит из угла в угол, заложив руки назад, нюхает табак и сморкается, а матушка переходит от кофе к чаю, от чая к обеду; что родитель и не вздумает никогда поверить, сколько копен скошено или сжато, и взыскать за упущение, а подай-ко ему не скоро носовой платок, он накричит о беспорядках и поставит вверх дном весь дом.

Может быть, детский ум его давно решил, что так, а не иначе следует жить, как живут около него взрослые. Да и как иначе прикажете решить ему? А как жили взрослые в Обломовке?

Делали ли они себе вопрос: зачем дана жизнь? Бог весть. И как отвечали на него? Вероятно, никак: это казалось им очень просто и ясно.

Не слыхивали они о так называемой многотрудной жизни, о людях, носящих томительные заботы в груди, снующих зачем-то из угла в угол по лицу земли или отдающих жизнь вечному, нескончаемому труду.

Плохо верили обломовцы и душевным тревогам; не принимали за жизнь круговорота вечных стремлений куда-то, к чему-то; боялись как огня увлечения страстей; и как в другом

месте тело у людей быстро сгорало от вулканической работы внутреннего, душевного огня, так душа обломовцев мирно, без помехи утопала в мягком теле.

Не клеймила их жизнь, как других, ни преждевременными морщинами, ни нравственными разрушительными ударами и недугами.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.